

В. Л. КОНДРАТЬЕВ



ПОВЕСТИ

1941–1942 годы

Вячеслав Леонидович Кондратьев

Повести. 1941–1942 годы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=26336388

Вячеслав Кондратьев. Повести. 1941–1942 годы: Спорт и Культура;

Москва; 2017

ISBN 978-5-91775-370-6

Аннотация

В сборник вошли повести Вячеслава Кондратьева «Селижаровский тракт» – о «боях местного значения» под Ржевом, участником которых стал автор, а также «Сашка» и «Искушение кровью», описывающие лишенную романтизма войну с такой глубиной и точностью, что они не смогут оставить читателя равнодушным.

Содержание

Предисловие	7
Селижаровский тракт	11
Конец ознакомительного фрагмента.	134

Вячеслав Кондратьев

Повести. 1941–1942 годы

© Кондратьева М. В., 2017

© ООО «ИСК», о-макет, 2017

*** * ***



Кондратьев Вячеслав Леонидович

Предисловие

В. Л. Кондратьев был призван в ряды Красной Армии в 1939 г. с первого курса Московского архитектурного института, а в декабре 1941 г. направлен на фронт. В составе 132 бригады принимал участие в тяжелейших боях подо Ржевом, был ранен и направлен в тыл для лечения. Позже было еще одно, более тяжелое ранение, после которого Кондратьева комиссовали с инвалидностью. После войны он оканчивает в 1958 г. Московский полиграфический институт и работает по специальности – художником-графиком. Что же заставило Кондратьева встать на путь писателя? Ответ мы находим в заметках Вячеслава Леонидовича об истории создания повести «Сашка»: «Я стал жить какой-то странной, двойной жизнью: одной – в реальности, другой – в прошлом, в войне. В общем, схватила меня война за горло и не отпускала. И наступил момент, когда я уже не мог не начать писать». Он определил свое творческое кредо так: рассказать ту правду о войне, которая еще не написана. Его произведения автобиографичны, в них рассказано о «боях местного значения» подо Ржевом, участником которых был сам В. Кондратьев. «Любая война начинается с дороги» – с дороги на войну (повесть «Селижаровский тракт»). И она становится первым серьезным испытанием для бойцов. Сначала они проявляют героизм в душевной и тесной теплушке эшелона, об-

стреливаемого с воздуха, наблюдая за идущими навстречу нескончаемыми эшелонами с ранеными. Потом начинается другая дорога, требующая еще большего мужества. Три дня и три ночи без сна, при нехватке еды и тепла нужно «переть пехом, спотыкаясь и скользя», неся на своих плечах все оружие и «нехитрое хозяйство», изнемогая от усталости, едва переставляя стертые в кровь ноги, стараясь не поддаться единственному невероятному желанию – «броситься на снег и лежать, лежать...» Но бойцов ждет ненасытный фронт, и они идут, «как по кладбищу пехают». «И вьется Селижаровский тракт на Ржев вдоль Волги, за которой грохочет война». Люди еще только слышат звуки боя и видят на горизонте фронтовое зловещее зарево, но уже совершают подвиг преодоления «войны тоски запредельной», чтобы завтра пойти «отдавать самое дорогое, что имеют, – свои жизни, отдавать за Родину, за Россию».

Кондратьев описывает лишенную романтизма войну как тяжелую кровавую работу. Каждый из бойцов понимает, ради чего он идет под пули. Сашку, связного командира Шергина из повести «Селижаровский тракт», ждет Зина из санроты («Буду ждать тебя, родненький»), а 28-летнего Шувалова – невеста Катенька. Пожилой рядовой «из старорежимных» (повесть «Искупить кровью») беседует с особистом и признается, что «за Россею-матушку» воюет, она ему Родина родная, а не Советский Союз. Старшой Пригожин, ротный, старается уберечь бойцов от гибели, ощущая личную ответ-

ственность за жизнь каждого, их судьбу. Но на войне страшно: и сердце сжимается, и сосет под ложечкой. И об этом без стеснения говорят солдаты и командиры. И этот страх, обжигающий ледяным потом, заставляющий дрожать пальцы, скручивающие самокрутку, даже у политрука, тоже нужно преодолеть.

В двух упомянутых повестях Кондратьева трудно выделить одного-двух главных героев. Прописаны разные типы людей, оказавшихся на войне в ситуации нравственного выбора: попытаться сбежать с передовой при первой же возможности, уцелеть под пулями, прикрыв себя бойцами, не подчиниться необдуманному приказу, цена которому – жизни десятков бойцов, сломать себе ногу или прострелить руку, чтобы попасть не на линию боя, а в тыловой госпиталь, или остаться верным присяге, воинскому долгу? Перед таким выбором оказывались не только бойцы на Селижаровском тракте и Овсянниковом поле, но и каждый участник войны, весь народ. В повести «Сашка» – один главный герой, глазами которого читатель видит войну, мыслит и переживает вместе с ним. Эта книга, появившаяся в печати при поддержке К. Симонова, считается литературным открытием, а герой Сашка – главной удачей автора. «Сашку» трудно пересказать, не потеряв главного – характер, который трудно воссоздать вне повести. К. Симонов так определил ее содержание: «История человека, оказавшегося в самое трудное время в самом трудном месте и на самой трудной должности

– солдатской».

Глубина и точность созданных Кондратьевым характеров не могут оставить равнодушным читателя. Каждый из героев его книг – это герой войны со своей личной историей, историей жизни-подвига одного человека ради Великой Победы целого народа. Когда испытываешь новое чувство – чувство победы, пусть пока небольшой, пусть в «бою местного значения», веришь, что «не зря все, не зря...»

В книгу вошли три повести В. Л. Кондратьева, написанные в разное время: «Сашка», «Селижаровский тракт» и «Искупить кровью».

Селижаровский тракт

«Хр-р-хр-р...» – глухо похрипывает передовая то спереди, то справа, и кроваво полыхает небо – жутковато, неотвратно...

Неотвратимость этого надвигающегося на них неба ощущают все. Знают и то: дорога эта, может, последнее, что есть в их жизни. Знают, но стараются об этом не думать. Но все же со скрытой завистью поглядывают на тех, кто идет обратно, – для тех все позади. Их немного. Остальные остались там. Это тоже все понимают и потому идут молча, – только топот ног, бряцанье оружия и редкие команды: «Подтянуться! Отставить курение!»

Молчат и думают... О чем? О близкой смерти, которая зарницами подмаргивает им с горизонта? Наверное, нет. Большинство идет на войну в первый раз, не знают еще, что такое передовая. Некоторые даже плохо представляют, что такое пехота.

Они демонстративно не снимают с петлиц эмблемы своих прежних родов войск – тут и золотистые танки, и перекрещенные пушки, и молоточки инженерных, и замысловатая красивая эмблема ВОСО, и даже крылышки летчиков. Да, летчиков! Разумно ли это? Никто не знает. Только понимают: нужна пехота, много пехоты, очень много пехоты.

Командир первой роты старший лейтенант Кравцов зна-

ет, что значит это багряное небо впереди. В первый раз шел он туда взводным, сейчас идет ротным, в третий раз, ежели останется живым, пойдет, может, и комбатом, но это не радует, – он знает, что там.

Сейчас он думает о своей Дуське... Нередко грозил он ей наганом: «Здесь семь. Ежели что, – две твоих, чтоб наверняка...»

Но Дуську, видать, не особо пугали наганные пули... И знал Кравцов: шепчутся и шушукаются за его спиной боевые подруги.

Скучно было Дуське. Детей у них не было, всех делов – прибрать в комнатке, целый день одна. Вставая в четыре утра, чтоб писать конспекты к занятиям, в шесть был уже Кравцов в роте, а возвращался только после отбоя, измотанный, – не до любви.

Вот и бегала она одна то в киношку, то на танцы, а там кто-нибудь из сверхсрочников-старшин, а то из рядовых, кто побойчее, заболтают, зажмут где в укромном местечке...

А Кравцов был неказист, ростом маловат, нос кнопкой. Не нашла себе Дуська лучше – вот и вышла. Подружки-то ее – «хетагуровки» – повыскакивали все замуж, не оставаться же ей в девках.

Да, такая была жизнь... Армию Кравцов любил, хоть и доставалось ему все с трудом. Пожалуй, лучше всего было, когда служил сверхсрочную старшиной. А на курсах комсостава было тяжело, четыре класса – не академия. Но расти хо-

телось, не век же с четырьмя треугольниками ходить.

В тридцать девятом перевели его в полковую школу. Не раз приходилось краснеть, когда начальник школы, просматривая его конспекты, жирно и стыдно большим синим карандашом подчеркивал грамматические ошибки и заставлял переписывать.

Пополнение в тот год пришло диковинное – почти все студенты, даже два инженера были в его взводе. Ребята очень грамотные, но в субординации не смыслящие, потому и гоготали при каждом его очередном ляпсусе. А их бывало немало. То на химподготовке окись углерода назовет не ЦЕО, а просто СО, как в книжке напечатано, да обзовет еще эту СО «секретным газом», получается который, когда бабка печь раньше времени закроет; то на занятиях по географии нашей Родины за тундрой пойдет у него «полундра»... Веселились на славу.

И стояло у него на занятиях это веселье, пока, вконец измученный, но просто, без командного металла в голосе, не сказал: «Ребята, что знаете сами не хуже меня, – скажите. Чтоб не болтал зря. Ведь академиев я не кончал». С тех пор стало тихо.

Зато мог он с закрытыми глазами разобрать и собрать затвор винтовки, стрелял только в «яблочко», а пятидесятиметровую штурмовую полосу проходил так, что взвод чуть ли не хлопал. Тут Кравцов был в своей стихии.

– Воткнул, а у ней и не засвербило! – кричал он кому-ни-

будь из курсантов, который мякло тыкал штыком чучело. – Чего, чего говоришь? Не получается? Шинель мешает? Плохому рубаке всегда что-то мешает...

Взвод хохотал.

Не пришлось ему побывать в прошлых боях в рукопашной, показал бы немцу русский штыковой удар. И орден – наверняка.

Но мысли о Дуське и о том, что беспрерывно она сейчас гуляет (на Дальнем Востоке мужиков пока хватает), как-то вяло прокатываются в его мозгу, не вызывая той обычной боли, с которой всегда представлялись измены жены, – все это теперь пустое. Волнует другое. Видит он, что из трех командиров взводов только Шергин чего-то стоит, а остальные... И одному ему придется расхлебывать кашу, именуемую боем... Хотя почему одному? Вот политрук идет рядом, мужик вроде ничего, молчун, правда... А может, это и хорошо? Не особо любил Кравцов болтунов, которые к месту и не к месту за Советскую власть агитацию разводили. Чего за нее агитировать? По-другому бы надо... И ему нравилось, что его политрук лишних слов не говорил, зато в котел красноармейский заглядывал часто – как там для бойцов, густо ли?

Не очень-то надеясь на лейтенантов из училища, придирчиво выбирал Кравцов помкомвзводов из кадровых сержантов-дальневосточников и выбрал вроде бы толковых, хоть и не воевавших, но которые со взводом справятся не хуже, а может, и лучше его взводных, недавних школяров, с которы-

ми, чуёт он, будет у него маета.

Ведь надо же: перед самой отправкой в эшелон подошел к нему один из этих новоиспеченных и заявил, что хочет заниматься со взводом тактикой.

– Какая, к черту, сейчас тактика! – отрезал он тогда. – Отдыхать людям надо. Отдыхать! Не к теще на блины едем. Поняли?

Да знает Кравцов, сколько сил потребует передовая, и нечего мотать людей – наматываются еще.

И люди примечали: понимает их ротный, жалеет, и тоже относились к нему по-хорошему. Это он видел. За годы службы много прошло через его руки народа, научился он понимать разные характеры и мог любого человека раскусить запросто.

Например, чуёт он, что будет у него с лейтенантом Четиным морока, напутает он что-нибудь как пить дать и, чего доброго, под трибунал попадет.

Вот и теперь уже, как первогодник, стер Четин ногу и ползет позади взвода, прихрамывая.

– Может, бойцам вас на ручки взять, лейтенант? – язвит Кравцов, когда тот в который уж раз присаживается перематывать портянку.

Четин краснеет и ничего не отвечает. А чего отвечать? Румянец, не сбитый ни шестимесячным училищем, ни месяцем резерва, – беда его. Знает он, что зовут его заглазно «лейтенантом щечки» и что, вообще, во взводе он пока ни

то ни се. Прислали его в роту всего за несколько дней до отправления, и до сих пор не помнит он как следует ни фамилий, ни имен своих подчиненных: шутка ли – пятьдесят два человека!

Сержант Коншин, от которого он принял взвод, встретил неприветно. Надеялся, видно, что оставят его во взводе и присвоят звание, так как учился он тоже на курсах лейтенантов запаса. И до сих пор не выпускает взвод из своих рук, и доходит до смешного: на каждое приказание Четина бойцы испрашивают подтверждение сержанта, обидно это до слез.

А сейчас эта чертова портянка, и замечание ротного – тоже обида.

Только один раз ходил Четин в училище в ночной поход и тоже стер до крови ногу, и сравнили это тогда чуть не с самострелом. Об училище вспоминать не хотелось. Гоняли их на тыловом пайке по четырнадцать часов в сутки. Одна думишка у всех была: скорей бы закончить – да на фронт, на обильные фронтовые хлеба. Изголодались, о страшном и не думалось.

А сейчас с пугающей ясностью видит Четин: не готов он для войны. Не может найти общее с людьми, воевать с которыми, перепутались в голове строевой и боевой уставы, путает даже команды, сержант поправляет, подсмеиваясь. Трудно будет ему в бою.

И в то же время с безнадежностью понимает, что только бой, только бой сможет сблизить его с людьми и сделать на-

стоящим командиром. Если, конечно, проявит он себя, будет смелее и тверже Коншина, дабы свой командирский авторитет навсегда утвердить. Но в это слабо верится: сержант старше его и по возрасту, и по службе в армии, и кажется ему сильным и самоуверенным.

Вспоминает он, как на учениях боец Диков (его-то фамилию он запомнил) отказался выполнить его приказание, и растерялся он тогда, не зная, что делать, а сержант так спокойненько вроде, не повышая даже голоса, но таким тоном подтвердил приказ, что Диков как миленький поднялся и без разговоров перешел в то место, куда указал Четин.

И живет его сейчас только воспоминание о доме, о матери-учительнице, с которой жил он в маленьком городке под Ярославлем. И было у него за плечами лишь детство. Не успел даже влюбиться как следует. Нравилась ему одна девочка из класса, ходили два раза в городской сад, посидели на затененной скамейке, но даже поцеловать не решился...

А сержант Коншин тоже думает о Дикове. За полтора месяца формирования он смог более или менее узнать людей своего взвода... Да, своего! лейтенантик пришел на все готовенькое. Это он, Коншин, ползал со взводом в снегу в сорокаградусные морозы, это он обучал их приемам рукопашного боя, это он ходил с ними на стрельбище и добился, что взвод стрелял на «отлично», а тут, перед самой отправкой, присылают этого «кюхлю» и говорят – сдавай взвод.

Только Дикова раскусить не может. Кто он? По анкете –

рабочий, грузчик... Но почему идет, как затравленный волк, озираясь по сторонам исподлобья, словно ищет какую лазейку, чтоб исчезнуть? Коншин уже приказал отделенному не спускать глаз с Дикова. Правда, здесь ему деться некуда, но как в бою?

И вообще-то не был Коншин таким твердым и сильным, как казалось Четину. Томят его тоже страх и неуверенность: как поведет он себя там? И среди этой огромности молчаливых и, в сущности, чужих людей чувствует он себя тоже неприятно и неприкаянно...

Не похож этот трехночный марш на те, что были на востоке, в кадровой, – со смехом и шутливой возней на привалах, с подковырками и веселым матюжком на перекурах... Молчаливо и сумрачно тянется колонна, – каждый в себе, в своих думах, в своих воспоминаниях. И на привалах скупо cedятся слова – только нужные, приказные, для дела. И не потому, что усталые невпроворот и оголодалые, а потому, что давит душу маячащее впереди алое зарево – зловещее, тревожное, неизбежное...

Потому и бегают на каждом привале Коншин к своим однополчанам по старому полку. Вроде и не дружили особенно, но теперь все они – и большой сильный Чураков, и нытик Пахомов, и рыжий, похожий на фрица, нескладный Лапшин, как родные, и с ними легче ему и спокойнее.

На одном из привалов Лапшин читает стихи, сочиненные в пути:

Ты не ходил еще, товарищ, по дорогам,
По которым прошла война,
По которым в молчании строгом
Трое суток идем мы без сна...

Обычно заикающийся, стихи Лапшин читает ровно, но тягуче, с подвыванием и почему-то шепотом:

Ты не знаешь, как в пургу метельную
На привалах валишься в снег,
И какую тоску беспредельную
На войну несет человек...

– А несем ли мы тоску беспредельную, ребятки? – задумчиво протягивает Коншин.

– Подожди, пусть читает дальше, – перебивает Чураков. Лапшин продолжает и заканчивает строками:

...Но даже на этой дороге
Нету время тебе отдохнуть...

В кадровой Илья в строю не служил – «перекрывался» в редакции бригадной многотиражки, а потому не хватил того, что досталось ребятам в полковой школе, и сейчас ему тяжелее других.

– Актуально, – басит Чураков. Это – насчет «нету время тебе отдохнуть», хотя он сам выглядит свежее остальных.

Да, устают все... Жратва слабая, привалы короткие. Дневки – скорее подготовка к отдыху, чем сам отдых: пока нарубил лапнику, пока соорудишь шалашик, пока прождешь обед, и остается каких-то три-четыре часа сна холодного, голодного, а потому мелистого. Не заспишь таким сном ни усталости, ни тревожных мыслей... А там опять дорога – долгая, темная дорога на войну.

– Насчет тоски, Леша... – начинает Лапшин.

– Несем! – безапелляционно заявляет Пахомов. – Как по кладбищу топаем, торчат эти трубы, как надгробия, – и ни огонька. Несем!

– Знаешь, после сарая мне стало страшновато... – Лапшин засопел трубкой. – А тебе?

– Если откровенно, тоже не по себе было, – отвечает Коншин.

На вторую ночь марша свернули они с большака на время, и деревеньки попадаться стали, немцем не тронутые, живые, с дымком из труб, с протоптанными тропками. В одной из них увидели ребята свет в сарае и решили зайти на минуту – искурить в тепле по сигарке. Открыл Коншин дверь и... Огромный полуразрушенный сарай был забит лежащими на полу ранеными. В середине раскаленная докрасна печь. Машиново шел от нее свет и кроваво падал на людей. У печурки – женщина в военной форме, либо врач, либо фельдшер.

– Чего вам? – подняла она голову.

– Извините... мы не знали, – смущенно пролепетал Лап-

шин. – Хотели погреться... покурить...

– Тут нельзя курить, – устало сказала женщина. – Раненые...

В углу кто-то застонал, и она пошла к нему. Коншин тихо прикрыл дверь. Руки играли, да так, что долго не мог свернуть самокрутку.

– Что же это т-а-к-о-е? – заикался Илья. – Раненые – и-и-и в с-а-р-а-е, н-а п-о-л-у... Леша, как же это так?

Коншин выдавил улыбку. Недоумение Ильи было трогательно и жалко. Он похлопал его по плечу:

– Ничего, Илюша... Запоминай. Потом опишешь.

В тридцать девятом забрали Лапшина с первого курса Литературного. Да и всех ребят забрали в тот год из институтов, кто годен был к армейской службе. Остались девушки без ребят.

И у Коншина после этого сарая с ранеными зависла в сердце тяжесть и долго не отпускала. Неотвязно мучила мысль, что, может, и им вот так же придется валяться где-то...

Общий ход военных действий в первом периоде Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.



Оборона Москвы. Пулеметчик на огневом рубеже



Бойцы занимают населенный пункт в Подмосковье

Как началась война, предчувствия ворвались в души тех, для кого она должна стать судьбой... Еще на Дальнем Востоке Коншину представлялись зимние дороги, заснеженные поля с черными кольями проволочных заграждений, какие-то деревни впереди, на которые они и должны наступать... А за год до войны, на больших маневрах, он как-то ясно почувствовал: впереди война, и написал «пророческие», как оказалось, стихи: «Может быть, впереди узкой щелью окоп, и сведенные в судороге губы, и холодный, как лед, обжигающий пот, и безмолвные серые трупы...»

Когда проезжали Москву, удалось Коншину позвонить матери по телефону. Чтобы ободрить ее, да и себя тоже,

сказал он уверенно: «Я вернусь, мама... Обязательно вернусь...»

Сминулся Коншин со смертью через несколько часов на одном из полустанков. Лежал он на верхних нарах, покури-вая, как вдруг что-то оглушительно грохнуло над головой, мигом его сдуло с нар вниз – стоит, оглядывается, не понимая, что же это такое, – а потом глянул и видит: раскачивается его автомат, что висел над головой, ложа разбитая, а на торцевой стенке вагона – дырка. Понял! Бросился в соседний вагон, а там – побелевший красноармеец с выпученными глазами, в руках винтовка, из дула которой вился еще легкий дымок.

Обматерив бойца, вернулся в свой вагон, закурил жадно, а автомат все еще тихо покачивался.

– Ну, теперича вас, сержант, не убьют. Не судьба... – сказавший попытался хихикнуть, но все молчали. Смерть прошла рядом и охолодила.

А после первой бомбежки в Лихославле окончательно убедился Коншин, как хрупко и ненадежно их бытие, и выкинул мысли о доме и возвращении. Сейчас, в эти промозглые метельные ночи, он уже не верит в то глупое «я вернусь, мама...» и мается, что эта бесконечная ночная дорога – дорога в никуда.

Лапшину в Москве посчастливилось повидаться с матерью, и угощает он теперь своих однополчан «Золотым руном». Его медовый запах напоминает о доме, тепле, уюте, и

они, все четверо, прилепившись друг к другу, дымят, перекидываясь редкими незначительными словами, но о самом главном – молчат.

Только Пахомов не курит. Съежившись, положив подбородок на колени, он думает... Не о доме, не о родных, а о Волге, о горьковском откосе при закате, когда розово горит гладь двух могучих русских рек, а по набережной гуляет нарядная беззаботная толпа.

Все годы службы в армии тосковал он по Волге, но знал: еще год-другой – и встанет он опять на мостик, и перед ним будет опять любимая с детства река... Но когда во взбудораженную командами ночь он вылез из вагона эшелона и вступил на эту дорогу, в нем что-то оборвалось. Понял – все, Волги ему больше не увидеть! Это было неожиданно и страшно! И потому всю дорогу идет он, не ощущая ни голода, ни усталости, в безразличии ко всему внешнему, сосредоточившись в себе, в ощущении какой-то пустоты впереди.

Да, не похож сейчас Пахомыч на того, что на фотографии, которую показывал Коншину в полковой школе. Лихо заломлена фуражка с «крабо́м», ослепительно бела форма, и улыбка, хоть и грустноватая, красит его лицо. А сейчас – редкая рыжеватая щетина на впалых щеках, потухший взгляд, и напоминает он эдакого мужичка-замухрышку из фильмов о «проклятом прошлом».

– Ты хоть пожил до армии, – не раз говорил он Коншину. Это «пожил» заключалось в том немногом, о чем расска-

зывал Коншин, – о нескольких московских кафе и ресторанах, в которых бывал иногда, и о своей Гале. Впервые в тридцать седьмом, на встрече Нового года, попробовал он вино и поцеловался с Галей, а после этой встречи сбилась у них теплая компания, и частенько устраивались вечеринки в пустой квартире одного из приятелей, где и случилось у них с Галей главное... Не очень-то удовлетворял Коншина тот образ жизни, потому и полюбилась армия с ее строгим и здоровым распорядком дня, отсутствием лишнего времени, с физическими нагрузками. Соблазнов – никаких, и ничего не оставалось, как закалять себя со всех сторон...

Пахомову особо хорошего вспоминать было нечего. В тридцать втором померли отец и мать. В четырнадцать лет остался Пахомов один. Дотянула старшая сестра, окончил речной техникум, стал на мостик красавца парохода. Вот эти годы до армии и были, пожалуй, лучшими. Ласковы были и тихи, если б и тут не пробежалась горесть: вышла замуж его первая и последняя, как он считал, любовь, вышла за молодца матроса с его же «коробки».

Лапшин несколько раз порывается сообщить ребятам: сегодня на привале сказал ему комбат, что будет он откомандирован в штаб бригады. Если совсем откровенно, то это немного обрадовало его. Романтические представления о войне выбивались каждым шагом этой тяжелой, жутковатой дороги. На Дальнем Востоке невозможным казалось не увидеть войну, просидеть в тылу. О чем же писать, если война

мимо? Нет, Лапшин не жалел, что бросил уютную отдельную комнатку в редакции многотиражки, что, увидев на станции Куйбышевка-Восточная эшелон, в одном из вагонов которого находились ребята их полка, и Коншин в их числе, он, не задумываясь, влез в вагон и сказал: «Ребята, я еду с вами!» Его отговаривали, пугали трибуналом за дезертирство, которое он совершает, покидая полк, хотя и понимали, что за дезертирство на фронт никто судить не будет. На другой день начальник эшелона внес его в списки и поставил на довольствие.

Кем берут его в штаб бригады, комбат не сказал, но, наверное, переводчиком. Учился Илья до восьмого класса в немецкой школе, что была на 1-й Мещанской, и язык знал хорошо.

Лапшин чувствовал, как скажет товарищам об этом, и сразу – стена. И потому оттягивал этот разговор до последнего.

– Да, братцы, война у нас будет настоящая... Это вам не Второй железнодорожный... – говорит Чураков на одном из привалов.

И вспомнилось всем: вычищенные, как в парке, дорожки между казармами, высокие столетние сосны, стадион, на котором с весны проводились общеполковые вечерние поверки – торжественно, с оркестром, – как чеканили они шаг на парадах, уступая в выправке только десантникам.

– Была жизнь... – говорит Пахомов.

– А ты все ныл. Все плохо было, – усмехается Коншин.

– Глупы были, – резюмирует Чураков.

Команда «строиться» разбрасывает их по своим подразделениям и гасит воспоминания.

«Надо идти, надо ползти в паутине колючек проводок...» – опять всплыли у Коншина строки его стихов, и он шепчет их в ритме своих шагов.

Савкин, рядовой коншинского взвода, отстает и плетется вместе с Четиным в хвосте роты. Он идет туда во второй раз, и, как ко всем «бывалым», Коншин относится к нему со смешанным чувством некоторого уважения – все-таки воевал – и иронии, потому что «бывалые» панически боятся самолетов, вопят, увидев где-нибудь зажженный огонек, и вообще представляются Коншину чересчур напуганными. Понять их, конечно, можно: воевали тогда, когда немец был силен. В том, что сейчас немец другой, Коншин не сомневается. Подтверждают это и раненые:

– Не тот немец, не тот...

– Кусается еще, сукин сын...

– Придете – увидите.

И очень верит Коншин, что их Отдельная, да еще Особая стрелковая бригада, почти вся из кадровиков, хоть и измытаренная дорогой, – немцу задаст. Ведь здорово: в каждом взводе десяток ППШ, штук пятнадцать самозарядных СВТ,¹ два ПТР, у каждого по две «лимонки» и одной РГД – это же сила!

¹ Самозарядная винтовка Токарева

Да и Рябиков – бывший его связной, когда он был взводным на формировании, и теперь шагающий рядом, – подтверждает его мысли:

– Должны мы дать немцу, товарищ командир. Ведь дальневосточники мы, кадровые...

Рябиков – смоленский, и семья его под немцем, и ничего он, конечно, о ней не знает – живы ли, нет? Для него каждый шаг вперед – это шаг к дому, и видит Коншин, что воевать тот будет по-настоящему. Положиться на такого можно.

Рядовой Савкин это «дадим немцу» не особенно разделяет, твердит всю дорогу: порядка на войне не было, и не заметно, чтобы его прибавилось. Трудно идет на войну Савкин. Еще в первую ночь, когда на западе неожиданно и зловеще полыхнуло небо и Коншин, чтобы сбить как-то оцепенение, охватившее людей от такой близости фронта, бросил небрежно: «Довольно красиво...» – Савкин подошел к нему, взял за локоть и медленно, будто с трудом, произнес:

– Там страшно, командир... Понимаете – страшно, – уже совсем тихо добавил и отошел.

Что знает помкомвзвода Коншин о своем бойце Савкине? Учитель. Интеллигент, а потому и воспринимает все остро, слишком болезненно. Ну, у него двое детей. Что такое дети, и что чувствует отец, их покинувший, идущий на войну, Алексею пока не понять, а может, и не придется понять никогда. Но все же он никогда грубо не обрывает жалобы Савкина, как он это делает с другими, хотя бы с тем же Фили-

моновым, который всю дорогу бурчит:

– Пожрать перед смертью и то не дают. Еле ноги тащим...

– Прекратите, Филимонов! – режет Коншин, зная, что разрешать говорить о трудностях, значит, в какой-то мере соглашаться, признавать наличие этих трудностей, а этого нельзя: разговоры поползут дальше и дальше. Но Филимонова на голос не взять, и он продолжает:

– Что, в России хлеба уже нет? Довоевались, значит...

– Отставить разговоры! – гремит Коншин. – Война! Не понимаете, что ли, война!

– Война... Ни при чем здесь война. Почему нас в Малоярославце на довольствие не поставили? Тоже война? Порядку нету – вот что. Красноармейцы у баб, после немцев разоренных, картошечку выпрашивали... Стыд! Все балакали: на фронте кормежка будет с наваром. Где он, навар-то? Полкотелка пшенки да кус хлеба...

– Молчать, Филимонов!

– «Молчать!» – На Филимонова накатывает: – Только теперь и поговорить по душам. Вот вы, командир, по молодости, наверное, думаете – ждут вас там подвиги геройские и всякое такое? Так думаете?

– Так, – отвечает Коншин, чтобы отвязаться.

– Беседовал я с ранеными... Горазд еще немец, ох как горазд! Что весной будет, неизвестно, может, опять на Москву попрет? Много ли верст до Москвы-то?

– Не попрет, – говорит Коншин с наигранной уверенно-

стью, а сам думает, что, и верно, всего за двести километров от Москвы немец, а потому, чтоб заткнуть рот Филимонову, добавляет: – Я вас, Филимонов, могу к политруку подвести. Вот с ним и покалякайте.

Филимонов замолкает, бросает на Коншина укоризненный взгляд и покачивает головой.

Но идут и другие разговоры, может, наивные, на коншинский взгляд. На одном из коротких привалов услышал он смех, подошел. Бойцы растянулись на снегу, покуривая, а один из рядовых его взвода стоял и что-то говорил ребятам. Коншин подошел ближе.

– Значит, не боишься фрица? – спросил стоящего бойца один из пожилых.

– Нет. Смерти, может, боюсь, а фрица нет. Видишь, ППШ у меня, семьдесят два патрончика. Цельный взвод фрицев могу ухлопать.

– Герой ты... – усмехаясь, продолжил пожилой. – Кабы все такие были, наверно, немца до Москвы не допустили.

– Ну, допустили... Напали-то они неожиданно, не развернулись мы по-настоящему, ну, самолетов пока не хватает, танков, так наделают самолетов... Вот в начале войны и автоматов – раз-два и обчелся, а теперь... Оплошали, конечно, маленько, но, ты же знаешь, нашего русского мужичка раскачать треба, спокон веков так, – пока гром не грянет, мужик не перекрестится... Но повернулась уже война. Всем ясно.

– Панихиду-то немцу рано заказывать, – проворчал кто-

то, тоже из пожилых.

– А может, не рано. Я вот уверен: придем мы, кадровые, дадим прикурить, – стоявший боец сказал это серьезно.

– Ладно, недолго осталось, посмотрим на тебя в бою, «прикурило», – усмехается пожилой и выплевывает сигарку.

– Посмотрите. Это вы самолетов немецких боитесь, в рукава сигарки прячете, будто увидит он с высоты.

– Да ты бомбежки настоящей еще не нюхал.

– Я в эшелоне трассирующими по брюху «мессеру» бил, пока вы в снегу барахтались.

– Что-то не видал...

– А я видел. Верно, стрелял, – вступил в разговор один из молодых бойцов. – Ванюха не сдрейфил. Что было, то было.

Ванюха расплылся в улыбке.

– Хочешь, Ванюха, судьбу твою скажу? – это все тот пожилой, усмехаясь.

– Говори.

– Либо ты первую пулю получишь, либо первый орден.

Понял?

– Ты не пугай насчет пули, а в смысле ордена, может, и получу. Воевать так воевать...

А колонна тем временем все растягивается и растягивается... Недохват еды, сна, тепла – все это сказывается на третьи сутки, и люди выбиваются из последних сил.

Комроты Кравцов подходит к Коншину:

– Своего лейтенанта устрой на подводу. Хромой он мне

на передке не нужен. И вообще, подтяни людей.

– Есть лейтенанта на подводу! Есть подтянуть людей! – Коншин повторяет приказание подчеркнуто точно, и Кравцов глядит на него одобрительно. – Последняя ночь, товарищ старший лейтенант?

– Да, – негромко подтверждает ротный.

– Значит, послезавтра бой?

– Выходит, так... Боязно? – Кравцов чуть улыбается.

– Как вам сказать? Наверно...

– Не наверно, а наверняка. Но ничего. Учти, – на тебя надеюсь. Четин слаб на изломе. В случае чего – взвод сразу тебе передам. Понял?

– Понял! – расплывается Коншин в улыбке, и опять какие-то мальчишеские думки о том, что должен он совершить на войне что-то необыкновенное, пробегают в голове и загибают то тревожное, что не покидает всю дорогу.

Много передумалось Кравцову за эти три ночи, но о родителях вспомнилось почему-то только на третью, последнюю. О том, что плохо в деревне и что теперь, когда он комроты и получает полевые, надо бы часть аттестата послать старикам. До войны-то из шестисот комвзводовских не мог он помогать в деревню, сам, бывало, не прочь был пообедать в красноармейской столовой, что, конечно, не разрешалось, кроме тех дней, когда дежурил по части и снимал пробы. Отписать бы Дуське, чтоб послала хоть рубликов триста, но не пошлет же, больно охоча Дуська и до жизни, и до денег. И дает себе

слово старший лейтенант Кравцов, что, как поставят его на батальон, непременно старикам выделит половину аттестата.

Коншин подходит к Четину:

– Товарищ лейтенант, вам на подводу надо...

– Дойду, – кривится от боли Четин.

– Ротный приказал, – мягко, начиная жалеть взводного, произносит Коншин и берет его под руку.

Пропустив колонну, он усаживает лейтенанта в сани санротовские, а сам идет вдогон роте.

Красноармеец Филимонов тоже отстает, и Коншин бросает ему на ходу:

– Подтянитесь, Филимонов, – на что вместо уставного «есть» слышит надоевшее:

– Куда спешить? Все там будем.

Коншин останавливается и выразительно смотрит на него.

– Чего смотрите, командир? Мне не двадцать годков, как вам. Погонять-то вы все умеете, а вот спросить, что с человеком, нет вас.

– Что же с вами, Филимонов?

– Что, что! Устал я, мочи нет.

– Все устали, – говорит Коншин, а потом, видя, что и действительно лица нет на Филимонове, добавляет: – Ладно, дождитесь лейтенанта, он в санротовских санях, к нему присядете.

Филимонов садится прямо в снег – дожидаться хвоста колонны, а Коншин уходит вперед и догоняет тоже отстающе-

го Савкина. Особо командовать Савкиным Коншину как-то неудобно, хотя, вытравляя в себе «интеллигентское слюнтяйство», бывал он с подчиненными и грубоват, и жестковат, чтобы доказать себе, что избавился от сантиментов.

– Устали, Савкин? – сочувственно говорит он, когда они поравнялись.

– Устал, товарищ командир, – слабо улыбаясь, отвечает Савкин.

– Во второй раз идти туда труднее?

– Несравнимо, товарищ командир. Уже известно все. Знаете, что поражает на войне?

– Что?

– Мало думаем мы на войне... Многое наобум было, на авось. Давай, давай! А на этом «давай» далеко не уедешь. – Помолчав немного, добавляет: – Нет умения еще. Нет.

– Отогнали же от Москвы. Так было, Савкин, а сейчас все по-другому. Наступаем же мы.

– Да, наступаем, – как-то вяло повторяет Савкин.

– И будем наступать! – решительно произносит Коншин.

Если Коншин в свои двадцать два не мог, конечно, распознать как следует людей своего взвода, хотя и казалось ему, что разобрался он в каждом, то для Савкина с его профессиональным учительским чутьем Коншин был как на ладони, и чуял он опасность и для себя, и для взвода в характере сержанта. Такой, чтоб доказать себе, что он не трус, может натворить глупостей, не пожалев себя, загубить и людей. А

в общем-то, был симпатичен ему этот мальчишка, который силой обстоятельств волен распоряжаться жизнью и смертью пятидесяти двух человек... и его, Савкина, жизнью тоже.

Савкин подвигов совершать не собирался. Наоборот, он будет стараться всеми дозволенными способами сохранить жизнь. Она нужна не только ему. Но как это трудно, – понимает. Знает он почти точно: будет наступление, у него шестьдесят шансов из ста на ранение, тридцать на смерть и только десять на жизнь. На жизнь... до следующего наступления. А там, по теории вероятности, шансы будут катастрофически уменьшаться. Он предпочитает ранение. Любое. Даже самое тяжелое. Но твердо знает, что ни на какую подлость ради сохранения жизни не пойдет. В прошлых боях выяснилось, что человек он не трусливый, что в самые страшные минуты способен мыслить, а первое ранение показало: может сносить физическую боль, а главное, знает он то, чего не знают, да и не могут знать те, другие, кто идет туда впервые, – труса праздновать он не будет.

Коншин пока этого не знает. Первая бомбежка в Лихославле, такая неожиданная, всех повергла в панику. Они неслись от эшелона, теряя шапки, роняя автоматы, падая в лужи – была ростепель, – и было это так унижительно, что возвращались к поезду, стыдясь глядеть друг другу в глаза, с багровыми, смущенными лицами. Коншин был потрясен и поклялся себе, что в следующий налет не растеряется, – ведь рядом с ними вагон санроты с сестричками. Но вторая бом-

бежка была так же негаданна. Разрыв бомбы у паровоза, а потом с диким ревом два «мессера», как какие-то доисторические желтобрюхие пресмыкающиеся, носились вдоль эшелона, расстреливая его крупнокалиберными. Хорошо, что случилось это не на поле, а около леса, в который они и бросились. Скорее, скорее! Подальше от вагонов! Бежали, проваливаясь в снег, ползли, катились... Казалось, бесконечно долго облетывали «мессеры» эшелон, бесконечно долго стучала дробь пулеметов... И тут Коншин тоже остался недоволен собой, хотя и пытался вести огонь из автомата по самолетам. Нет, видно, к этому надо по привыкнуть...

Догоняя взвод, равняется он с Чураковым. Тот идет широким размеренным шагом и, кажется, может пройти так же легко еще столько же. Коншин, хлопнув его по плечу, некоторое время идет рядом.

– Иван, ты, пожалуй, спокойнее всех? – начинает Коншин.

– А чего травить себя зря? Что будет, то будет.

– Ты не был в сарае.

– Ну, если б и был? Вы что с Ильей думали – хоромы для раненых по всему фронту построены?

– Этого не думали, но вот так, как лежали эти люди...

– Так чего же рассиропились? Война. Разве непонятно?

У Чуракова железная нервная система. Он знает, что очень силен и с любым немцем, если дойдет до рукопашной, справится запросто; знает, что умеет прекрасно стрелять, окапываться, штыком владеет не хуже Кравцова, обла-

дает боксерской реакцией и совершенно справедливо полагает, что из всех них остаться живым шансов у него больше. Ну а если что... От судьбы не уйдешь. А воевать надо! Жестоко воевать!

– Пахомыч сдает... Все о Волге ноет. Она мне тоже родная, Волга-то... В общем, Алеха, живы будем – не помрем.

А навстречу все чаще и чаще попадаются подводы с ранеными. Закутаны они одеялами почти с головой, и лишь иногда увидишь небритое, со впавшими щеками, обострившееся лицо с закрытыми глазами, и невольно у всех сжимаются сердца и начинает сосать под ложечкой...

Желтится на востоке небо, блекнет на западе зарево передовой, но все громче и громче ее рык. Она уже близехонько и ждет их – жадно, нетерпеливо.

Этот рык жутью забирается в самую глубину души рядового Дикова, того самого, которого никак не раскусит помкомвзвода Коншин. Страх томил его еще на Урале, где формировались. Потому часто его глаза вспыхивали ненавистью ко всем, кто им командовал, – от отделенного до командира роты. В каждом командире видел: вот этот поведет меня на убой. Сам он одно время работал на бойне и теперь чувствует себя заарканенным бычком. Вот почему он так озирается всю дорогу, и его не привыкший мыслить мозг лихорадочно выискивает хоть какой-то выход, но пока не находит. Любили бабы Дикова, хотя и был некрасив, любили за мужское, и сейчас, вспоминая их, думает он: сколько еще могло быть

у него женщин, если бы не эта проклятая война, если б не то страшное и непонятное, что ожидает его и против чего яростно протестует сильное, молодое тело.

Так и идет он, внутренне упираясь, но влекомый общим движением колонны, безнадежно понимая: каждый шаг приближает его к тому, чего он не хочет и чего боится.

Зато, если судить по виду, легко идет на войну командир первого взвода Андрей Шергин. Нет у него кубарей в петлицах, но шинель и шапка командирские. Затерялись в госпитале документы о присвоении звания, но прислали его из командирского резерва, потому и поставили на взвод.

Коншин часто поглядывает на высокую стройную фигуру Шергина, туго перетянутую ремнями: его интересует Андрей. Слышал он, что после ранения, попав в нестроевую часть, выпросился Шергин в пехоту. Немногословный, он кое-что все-таки рассказывал про войну – и совсем не похожее на рассказы Савкина. Не был он напуганным, как другие «бывалые».

– Андрей, – спросил как-то Коншин, – почему ты в пехоту пошел? Воевал же ты и знаешь, почем фунт лиха.

– Я строевой командир. Нечего мне в стройбате делать.

– Но там страшно, – протянул руку Коншин в сторону горящего неба.

– Ну и что? – спокойно ответил Шергин.

– Рисуешься?

– Нет, – Шергин закурил. – Просто я должен вернуться

другим, не таким, каким ушел.

– Не понимаю.

– Или не вернуться совсем, – продолжал Шергин.

– Тоже не понимаю. И ты примирился с этим? С «со-
всем»?

– Ты можешь представить, что тебя убьют?

– Реально – нет.

– Я тоже стараюсь об этом не думать.

Разговор не удовлетворил Коншина. Только один раз – еще на Урале – видел он, как покинуло Шергина спокойствие. Получали письма, и когда выкрикнули его фамилию, он бросился, побледневший, схватил письмо и, отойдя в сторону, долго читал его, словно впитывая каждое слово. Потом не раз видел Коншин, как, забившись в уголок, чтоб никто не мешал, перечитывал Шергин письмо, и губы его кривила какая-то сдерживаемая, но все же заметная боль.

– От девушки? – спросил Коншин.

– От девушки, – спокойно, но нехотя бросил Шергин, так что продолжать расспросы Коншин не стал.

И никто, кроме военной цензуры, не знал, что письмо это не от девушки... А что думал и чувствовал Шергин, читая и перечитывая письмо, не знал никто.

Только видит Коншин, да не один он, что идет Шергин на фронт спокойный, подтянутый, решительный и очень сосредоточенный. Не так, как прочие: с сумятицей и томлением. Видит, но не знает тому причины и потому заговаривает

с Шергиным часто, не смущаясь, что отвечает тот скупой и вроде безохотно.

– Андрей, мой Савкин говорит, что на фронте порядка мало. Так ли?

– У нас был толковый командир полка. Мы ни разу не попадали в окружение и отходили в полном порядке.

– А ты сам совершил что-нибудь такое?

– Что именно? О чем ты?

– Ну, проявил себя?

– Меня утвердили в должности комвзвода и послали аттестацию.

– Значит, что-то сделал?

– Наверное.

– А за что дают награды? Что надо совершить, чтоб получить... ну, хотя бы «За отвагу»?

– Мальчишеские вопросы, Коншин.

– Ну, ты за что получил?

– Просто воевал. Но «За отвагу» – это мало.

– Хочешь большего?

– Хочу.

– Честолюбие?

– Нет. Мне нужно.

– Всем бы не мешало, – усмехается Коншин.

– Другим это не так важно.

– Вот как? Почему это – для тебя важно, для других...

– Прости, я пойду к взводу, – перебивает Шергин и уже

на ходу бросает: – Когда-нибудь объясню.

Под стать своему командиру взвода его связной Сашка – тоже ладный, подтянутый. Все ему впору: и шинель, и шапка, даже обмотки не уродуют его. Чуть он пониже Шергина, но крепко затянутый брезентовый пояс стройнит его. И шагает он тоже легко, привычным пружинистым шагом. Служил кадровую в пехоте, переходил за эти годы не одну сотню верст, не одни сапоги истоптал, обвыкся в ночных походах. Нередко улыбка блуждает на его лице, было у него перед маршем необыкновенное: поцеловала его Зина из санроты, с которой бегал вместе при бомбежках и прикрыл своим телом, когда взрыбили пули снег вокруг них и близились к ним... До сих пор ощущает он прикосновение холодных Зининых щек, до сих пор в памяти ее слова: «Ждать тебя буду, родненький...»

Раза три за ночь обмахивает батальон на своей белой, как и его полушубок, лошади двадцативосьмилетний комбат – капитан Шувалов. Не пришлось ему побывать ни в Испании, ни на Халхин-Голе, где кое-кому из его друзей удалось заслужить ордена и славу. У него же на гимнастерке скромно поблескивает только значок «Отличник РККА» – маловато. Но впереди вся война, лишь бы не сплеховать. На последних учениях на Урале все прошло прекрасно, – лихо поднимали командиры рот в атаку бойцов, с дружными криками: «Ура, за Сталина!» – с ходу была взята сопка, занятая «противником». Красиво прошли учения, и заслужил он благодарность

комбрига.

Что там, он еще не знает, но молод, самонадеян и верит в успех. Сам напросился, чтоб его батальон первым пошел в наступление, и хочется ему во что бы то ни стало выиграть свой первый бой – лиха беда начало... Часто подъезжает он к штабным саням, где едет Катенька – сестренка из санроты, любовь с которой началась еще на формировании. Поначалу не хотел брать ее в батальон, но она сама – «хочу с тобой быть, и никаких...». Конечно, на самый передок ее не возьмет, пусть в санвзводе будет. И хотя девушек там не было, разрешил комбриг, после того как сказал Шувалов, что, как из боев выйдут, так и распишется он с Катенькой... Либо перед возможной смертью все таким настоящим кажется, либо и верно полюбил, потому как нет для него сейчас человека дороже... А когда представлял, что может кто полезть к Катеньке, если бы осталась она в санроте, то рука сама тянулась к кобуре, а в голову ударяла кровь...

Комиссар батальона – или, как теперь, замполит – тоже объезжает колонну на жирной гнедой кобыле, тоже в белом, перетянута ремнями полушубке. Иногда останавливается, слезает с лошади и идет пешком, беседуя с бойцами. Он тоже ладен, высок. Голоса никогда ни на кого не поднимает, не чета комбату, – тот покричать любит.

Командиры, в общем, ничего. «Каковы будут на изломе?» – думает комроты Кравцов, повидавший на своем армейском веку всяких начальников.

Любая война начинается с дороги. Сперва с железной, по которой катят в теплушках по восемь человек на каждых нарах, с печкой в середине, раскаливаемой докрасна и брызжущей огненными искрами, которые мечутся по всему эшелону, демаскируя его ночью. С короткими остановками, с негустой кормежкой, выдаваемой почему-то всегда ночью, когда она совсем не в радость, когда с еще не продранными глазами достаешь ложку и хлебаешь без вкуса полутеплую жидню. С дороги, на которой навстречу тянутся эшелоны с ранеными; с дороги, на которой их провожают печальными, а порой и заплаканными глазами женщины-солдатки, безнадежно помахивают руками, а некоторые и осеняют крестом; с дороги, на которой валяются искореженные вагоны, скрученные взрывом рельсы, и представить страшно, что же делается с людьми, с их живыми телами при такой вот силище разрыва; с дороги, на которой с тоской и ненавистью смотришь на ясное небо, потому как оно для тебя зло, потому как при таком-то безоблачном небе и жди самолетов. Но кончается эта железная дорога, и уже жалеешь о ней, потому что было тебе тепло, потому что не топал ты ногами, лежал лежа на нарах, покуривая, и война была от тебя еще ох как далеко.

И начинается дорога другая, где на плечах все твое нехитрое хозяйство, все твое довольно весомое оружие; дорога, по которой переть тебе пехом, спотыкаясь и скользя на обледенелом просторе; дорога, на которой и покурить-то как

следует невозможно, а только таясь, в рукав, а потому и без вкуса... Дорога, где ни одного приветного огонька, ни одной живой деревеньки, ни одного какого жителя не встречается. Только торчат закопченные трубы да черные деревья с костлявыми, обожженными ветвями на тех местах по большаку, где были деревни... Дорога, на которой угрозно бухает где-то впереди фронт, раскатывается глухой гул недалеких боев и зловеще краснеет небо у горизонта.

Но и этой дороге, как и всякой дороге на земле, приходит конец. Третью ночь тяжело бредет батальон. Подламываются уже ноги, в головах туман от неспанных ночей, в теле тошнотная слабость от недохвата еды, но люди идут и идут, подстегиваемые жесткими командами охрипших командиров:

– Командиры взводов! Подтянуть людей!

А те в свою очередь:

– Командиры отделений! Подтянуть людей!

Ну а отделенные уже бойцам:

– Не отставать, мать вашу...

– Подтянуться!

– Эй, кто там остановился? Не отставать! Вперед!

– Кто вздумал оправляться? Отставить! Донести до привала!

А у людей уже красные круги в глазах, бредут, натываясь друг на друга, и одно только желание невероятное – броситься на снег и лежать, лежать... Лежать гораздо дольше очередного походного привала, лежать ночь... день... еще ночь.

Но ждет их ненасытный, гремящий, попыхивающий зарницами фронт, и они идут, идут, идут... И вьется Селижаровский тракт на Ржев вдоль Волги, за которой и грохочет война. Вот почему уже в первую ночь неожиданно вспыхнула справа передовая, вот почему хрипит она всю дорогу, напоминая о себе постоянно.

Лесок, в который заходит батальон на рассвете, заселен. Голубовато вьются дымки из землянок, ржут где-то поблизости лошади, пахнет кухней... Эх, забраться бы в какую из землянок, хоть минутку побыть в тепле, перемотать портянки, искурить сигарку. Но нет команды на отдых, и проходят они мимо дошагивать последние километры.

Наконец привал. Команда – костров не разжигать! Поначалу это не трогает: черт с ними, с кострами! Главное, завалиться в снег и лежать. Так люди и делают, – вся обочина устлана телами. Но вот когда разгоряченное ходьбой тело начинает застывать, когда холод начинает забираться под одежду и колюче покалывать спину, тут понимают они жестокость команды. И как ни трудно подняться, – приходится. Стоят люди, подшагивают на месте, бьют друг друга по спинам, хлопают рукавицами, и одна надежда на кухню: может, потеплее малость станет, как похлебают они горячего.

Все уже знают: последний это отдых в тылу. Завтра примет их неведомая, таинственная передовая и... грянет бой. Первый бой! Знают, но безразличествуют, – слишком намучены, не до мыслей каких, не до загадок на будущее... Спать,

спать, спать...

Опять однополчане по кадровой – Лапшин, Коншин, Чураков и Пахомов – вместе. Опять запах «Золотого руна» из трубки Ильи навевает воспоминания о Москве, о доме, опять они жмутся друг к другу.

– А-а-а-д-р-е-с мой не забыл? – спрашивает Лапшин у Коншина.

– Конечно, нет.

– 3-3-н-наешь, в случае чего... надо писать им сразу. Для них неизвестность хуже всего, – это о матерях. О матерях, которые теперь в постоянном непокое будут ждать самого главного – коротких строчек с одним лишь известием: я пока жив.

Они обменялись адресами, и это, казалось бы, обычное дело сейчас приобретает совсем другой, чем в мирное время, смысл, ведь кому-то из них придется писать о смерти другого. Только кому и о ком – неведомо пока никому!..

– Ребятки, – начинает, заикаясь, Илья, – вот какое дело... В штаб меня берут. Честное слово, не просил никого.

– Ну и здорово, – говорит Чураков. – Кем?

– Наверное, переводчиком.

– Поздравляю, Илья, – как-то вяло произносит Коншин.

– Чего поздравлять? Я же не хотел... Я не знаю, откуда они узнали о немецкой школе...

– Ладно, ладно. Ты чего... словно извиняешься. Взяли – и хорошо. Война долгая, успеешь еще навоеваться, – ободряет

Чураков.

– Радуйся, Илья, – хлопает его по плечу Коншин.

Но что-то встало между ними. Нет, не завидуют они Лапшину, даже рады за него, но... разделились их судьбы, какой-то холодок отчуждения произвольно прошелся, и Илья почувствовал это острее других.

Раздается сигнал к сбору.

– Вот гадство, отдохнуть не дают, – бросает в сердцах Пахомов. – И костров не жги. Так продροжим весь день не спавши, а завтра...

И обжигает это всех – завтра! Завтра! В котором – бой! Это реально! Это неотвратимо! Это будет!

Словно ледяной ком прокатывается внутри, но вскоре тает, отходит, оттесненный тяжелой, непроходимой усталостью, при которой все трын-трава.

Медленно подходят они к месту сбора, на небольшую поляну, окруженную молодыми сосенками, и тишина зимнего леса заставляет их на миг забыть о войне, о том, что сейчас получают они последнее напутствие перед боем... На поляне только командиры, вплоть до отделенных. Стоят полукругом, без строя. В середине ослепительно выбритый комбат, уверенным, хорошо поставленным голосом говорит о том, что завтра они будут в бою и во что бы то ни стало должны освободить занятые фашистами деревни, что опыт войны показывает: неудачи некоторых наступлений объясняются тем, что бойцы ведут недостаточно сильный огонь в ходе

боя и тем дают врагу возможность прицельно стрелять.

– В наступлении – стрелять и стрелять! – повторяет несколько раз комбат. Разъяснить это бойцам и требовать от них!

Потом говорит он о месте командира в бою. Не впереди, как их учили все время. Место командира там, откуда удобнее управлять. У нас слишком большие потери командного состава. «Вперед, за мной!» – надо отставить.

Вот так новость! На всех тактических занятиях первыми поднимались командиры: «В атаку, за мной!» И бежали красноармейцы, равняясь на них, упаси бог отстать.

Вопрос задал Кравцов:

– Товарищ капитан, немного не разумею. Что ж, я должен гнать перед собой роту, а сам сзади?

– Повторяю, – откашливается комбат, – место командира там, откуда удобнее управлять боем. Конечно, в некоторых ситуациях командир может и должен быть впереди. Но только тогда, когда это необходимо. Разве не ясно?

Несколько голосов глухо подтверждают: «Ясно, все понятно...»

После капитана выступает замполит. Говорит просто о том, что наши части никак пока не могут освободить многострадальный город Ржев, и что от успеха завтрашнего боя многое зависит, и что, надеется он, весь личный состав батальона с честью выполнит свой долг и не окажется среди них трусов и сробевших... Потом добавляет: через час парторг

батальона будет принимать заявления в партию, после чего состоится партийное собрание.

Было все это как-то очень буднично и обычно, словно у них не бой завтра, а очередное учение, и, наверное, не только Коншину хотелось чего-то другого, торжественного, приподнятого, соответствующего тому высокому чувству неповторимости и значительности этого мига, которым наполнены их сердца, потому как завтра пойдут они отдавать самое дорогое, что имеют, – свои жизни, отдавать за Родину, за Россию...

И захотелось Алексею музыки, вспомнились общеполковые вечерние поверки, где гремела медь оркестра, где торжественные марши сплывали две тысячи людей в единое целое, в могучую силу, готовую в едином порыве совершить самое невозможное...

Неожиданно к Коншину подходит комиссар:

– Надеюсь, земляк, что увижу ваше заявление.

– Не знаю, товарищ батальонный комиссар, я как-то еще не думал, – теряется Коншин. – Еще ничего не совершил...

– Мы все еще ничего не совершили, сержант.

С комиссаром у Коншина был разговор еще в Москве, когда стоял их эшелон почти у самого Киевского вокзала, в тоске метался он между вагонами, глядя на московские дома, такие близкие и такие недоступные. Наконец не выдержал и подошел к комиссару, тоже маячившему вдоль вагонов, с просьбой съездить на час домой.

– Где вы живете? – спросил тогда комиссар.

– На Сретенке.

– На Сретенке? – переспросил тот и, взяв Коншина под локоть, сказал: – Пройдемтесь.

Они пошли в хвост поезда, миновали его, прошли еще немного, и тут комиссар остановился.

– Вот видите тот большой дом? – показал он на какое-то здание с заклеенными бумажными крестами окнами.

– Вижу.

– Так это... мой дом... – Комиссар затащил папироску. – И я не зашел в него. Поняли?

– Понял.

– А вы – Сретенка, – улыбнулся комиссар, потом посерьезнел. – Вот так-то, сержант. Мы вернемся к своим домам. Вернемся. В это надо верить.

С тех пор, когда они встречались, комиссар неизменно спрашивал:

– Ну, как дела, москвич?

Предложение вступить в партию застало в какой-то степени врасплох.

– Товарищ комиссар, честное слово, не знаю, как поведу себя там. Вдруг струшу?

– Не струсите, москвич. В этом я уверен.

– После первого боя, товарищ комиссар! После первого боя... Хорошо?

– Ну, как хотите. Только знайте, – я верю в вас.

– Спасибо.

Комиссар отходит от Коншина, подымливая папироской, а у Коншина от его доверия приятно щекочет в груди и как-то не таким уж страшным кажется это завтра.

Раз уж запрещено жечь костры, то незачем сооружать и шалашики, да и сил уже не осталось, – измаяла людей дорога. Рубят лапник, бросают на снег, устраивают лежки под сосенками и заваливаются в ожидании кормежки.

Опять ребята вместе, только Лапшина нет. Жмутся друг к дружке, дымят махоркой молча: не говорится что-то, не идут слова, будто приморозились, а ведь завтра... Что даст им силы завтра? Любовь к Родине? Да, конечно! Но любовь, еще не полностью осознанная, еще не выстраданная... Ненависть к врагу? Разумеется! Но ненависть-то пока книжная, еще по сердцам не прошедшая...

Достаточно ли сильно будет держать их мальчишеское презрение к трусости? Выдюжат ли ребята то, что именуется первым боем? Все – завтра! Все покажет завтра!

– Коншин, можно тебя на минутку? – подходит к ним Шергин.

– Что, Андрей? – с трудом поднимается Коншин.

– Поговорить надо.

Они отходят чуть в сторону, закуривают, и Коншин терпеливо ждет, что скажет ему Шергин, но тот не торопится. Он внимательно смотрит на Коншина, словно раздумывая.

– Завтра – бой, Коншин. И может случиться всякое. По-

нимаешь?

– Ты же вроде помирать не собирался, – пробует улыбнуться Коншин.

– У меня здесь никого нет, а с тобой мы немного подружились...

– Да.

– Вот два письма... Если что – пошлешь...

– Хорошо, Андрей... Если сам...

– У меня больше шансов.

– Почему?

– Так... – Шергин затягивается сигаркой. – Ты подал заявление в партию?

– Нет.

– Почему?

– Сам не знаю... Видно, не до конца уверен в себе. Договорился с комиссаром – после первого боя. А ты подал?

– Да. Но меня могут не принять.

– Отчего же?

– Так...

– Излишней откровенностью ты не страдаешь.

– Пожалуй... Я скажу тебе... чуть позже...

– Как хочешь.

Шергин поворачивается и уходит к своему взводу – прямой, подтянутый, спокойный, а Коншин, глядя ему вслед, думает, что не мешало бы позаимствовать у Шергина и выдержки, и хладнокровия.

Тут встречается он глазами с рядовым Савкиным.

– Можно с вами поговорить, товарищ сержант? – спрашивает тот тихо, не по-уставному, и легко трогает его за рукав.

– Говорите.

– Не обижайтесь только, если вам покажется, что я скажу нечто нравоучительное. Но я старше вас почти вдвое и в бою завтра буду не в первый раз. И, я думаю, это дает мне право сказать вам кое-что...

– Я слушаю вас, Савкин.

– Никогда не забывайте, что вот эти пятьдесят два бойца вашего взвода – люди, у которых матери, жены, невесты, дети...

– Я понимаю это.

– Это мало – понять... Надо душой прочувствовать, что ли...

– Что дальше, Савкин?

– Постарайтесь думать в бою. Все время думать. Это очень трудно. Завтра вы в этом убедитесь, но старайтесь... думать и... сберечь людей...

– Савкин, я буду выполнять приказ...

– Приказы бывают разные.

– Приказы не обсуждаются, Савкин, – перебивает Коншин.

– Да, конечно, я это знаю, но все-таки... Вы знаете, почему я говорю вам все это? Вы никогда не простите себе, если останетесь живым, до конца дней не простите, если по

вашей неосмотрительности, растерянности или, скажем просто, недомыслию зазря погибнут люди. Война не все спешет. А вы мальчик совестливый, это видно... Не сердитесь за мальчика, моему сыну семнадцать, на тот год ему идти на фронт...

Коншин возвращается к своим, обдумывая слова Савкина. Не по адресу обратился тот. Что может сделать помкомвзвода Коншин? Эти слова бы комбату, а что он, сержант? Он будет выполнять приказы. Это закон армии!

Чураков и Пахомов лежат, обнявшись, чтоб теплее. Подбросив лапнику, Коншин ложится рядом и прижимается к холодной и влажной шинели Чуракова. Поднимает воротник, подтягивает ватник к лицу, чтоб дышать внутрь и не упускать тепла.

Пахомов открывает глаза.

– Помнишь, Алеха, на учении один из «бывалых» сказал: «Все будет не так. Он как да-аст...»?

– Помню.

– Вот и я думаю... Наверно, действительно будет все не так. Совсем непохоже, совсем другое... – в глазах Пахомыча тоска.

– Чего гадаешь? – просыпается Чураков. – Конечно, будет не так. Придем – увидим.

– Ну и бугай ты, Иван! У тебя что, нервов нет?

– Почему нет? Просто раньше времени нечего слякоть разводить. Давайте спать.

Но не спится... А вскоре команда на обед разводит их по своим взводам. Гремит котелками батальон, тянутся все к кухням, от которых пар валом и запах пшенки.

По пути на кухню Коншин видит своего взводного. Сидит тот прямо на снегу, прислонившись к стволу. Рот приоткрыт и как-то обиженно по-детски опущен вниз. Алексей остановился около него, и что-то жалостное входит в сердце, как свое ощущает он и одиночество, и неприкаянность лейтенанта, а тот вдруг всхлипывает во сне, и слеза медленно ползет по щеке.

– Лейтенант! – тянет его Коншин за рукав шинели. – Проснитесь. Обед. – Четин открывает глаза, вначале непонимающе смотрит на сержанта, потом слабо улыбается. – Давайте котелок, лейтенант, принесу обед.

– Да я сам.

– Сидите, сидите. Я схожу. Вместе и поедим. Хорошо?

– Хорошо, – вроде удивляется Четин. Не балован он вниманием своего помкомвзвода.

Пшенка хоть и жидковата, но горяча, и они молча хлебают ее, закусывая сыроватым полузамерзшим хлебом.

– Я немного виноват перед вами, лейтенант, – начинает Коншин.

Но тот машет рукой:

– Ладно, сержант. – Вытаскивает легкий табак и предлагает Алексею. – Ты лучше скажи, – вдруг переходит он на «ты», – что делать, если и в бою этот Диков откажется вы-

полнять приказ?

– По уставу, лейтенант, командир может и должен даже силой заставить исполнить приказ. Вплоть до применения оружия.

– Это я знаю, – лейтенант закашливается. Курить он начал только на марше. – Но если и под угрозой оружия... не выполнит, что тогда? Ты сможешь застрелить человека?

– Не знаю...

– А я знаю – не смогу. И что делать?

– Ничего, лейтенант, не беспокойтесь. Я заставлю этого типа делать, что положено.

Цигарка у Четина разворачивается, табак просыпается.

– Как настройение у взвода?

– «Бывалые» скисли, а кто впервые – те ничего, – отвечает

Коншин.

Они долго молчат, потом Четин морщит лоб и, словно отрезая себе пути назад и скрывая волнение, говорит:

– Ты слышал, что говорил комбат? Но я... я пойду впереди взвода... Ты понял?

– Зачем это?

– Так надо. А ты будешь подтягивать людей сзади. Договорились?

Четин опять неумело начинает свертывать самокрутку, руки у него немного дрожат... Коншин зажигает спичку. Лейтенант затягивается и опять раскашливается. Видит Коншин, – нелегко далось Четину такое решение. И сказал-то о

нем лишь потому, что боится: вдруг не сможет этого сделать.

– Я прикажу сейчас устроить вам шалашик, – Коншин встает.

– Не стоит...

– Ну, хоть лапнику нарубят... Простудитесь так.

– Ерунда... – чуть улыбается лейтенант.

Идя к взводу, Коншин наталкивается на Илью – взволнованного, даже вроде ошарашенного.

– Ты зна-ешь, ка-кое д-д-де-ло? Меня взяли в р-р-р-азведку... Понимаешь, в р-разведку!

– В бригадную?

– Нет, в батальонную.

– Ты ж говорил – переводчиком?

– Буду и переводчиком. «Языков» допрашивать. Это з-з-здорово, Алеша. Интересно, чем сейчас немцы дышат? Это же потрясающий материал.

– «Языка»-то надо сперва добыть, – отрезвляет Илью Коншин.

– Ко-не-чно...

– Ты доволен, что ли?

– Я ж с вами буду, в одном батальоне. Знаешь, как мне неудобно было, что вы там, а я в штабе.

– Ты ж ни черта не умеешь, Илья. Ни стрелять, ни окапываться, ни ползать даже как следует. Какой ты разведчик?

– Нау-чусь, Леша, нау-чусь, – он набивает трубку.

А Коншин вспоминает, как подбиралась бригадная раз-

ведка, и улыбается.

– Ты чего? – спрашивает Илья.

– Помнишь, как бригадную разведку набирали, какие ребята требовались?

– Помню... Я, конечно, в этом смысле, может, и не гожусь, но у меня есть другое... И язык я знаю...

– Что же другое?

– Интеллект.

– Думаешь, пригодится?

– Надеюсь. – После небольшой паузы Лапшин тихо спрашивает: – Леша, что ты чувствуешь?

– Ни черта не чувствую! Хочу жрать, спать, хочу тепла.

– Только-то? Не верю.

– Знаешь, по-моему, все эти описания ночи перед боем, когда герой перебирает свою прошлую жизнь, вспоминает родных, любимую, – мура! Не так это! Ни о чем сейчас не думаю. Выспаться бы... – Коншин широко зевает, может, несколько подчеркнуто.

– Ты-ты-ты неискренен, Алексей. Ну, ладно... Желаю...

– Не надо прощаться, – перебивает Коншин. – И вообще... без сантиментов, Илья. Живы будем – не помрем, как говорит Чураков.

Коншин обходит свой взвод... Лежа по двое, по трое, прижавшись друг к другу, небритые, намученные, дремлют... Всего месяц знает их Коншин, но не чужие они ему. Особенно спаял их этот трехсуточный марш на войну, связал во-

едино тем, что завтра, и тем, что будет послезавтра, всеми теми днями, которые – кому сколько – доведется пробыть на передовой.

Задолго до темноты батальон уже на ногах... Стоят, приплясывают, хлопают друг друга по заиндедевевшим спинам – греются, ожидая команды на построение. Скорей бы трогаться, согреться на ходу, а то совсем заоченели. Был этот последний отдых не в отдых. Без шалашей, без костров разве можно было поспать по-человечески? Только задремлешь малость, как просыпаешься от холода, встаешь, плясешь на месте, оттираешь замерзшие руки, потом опять валишься в снег на полчаса, и опять забирает холод, опять поднимаешься, и так весь день. Уж скорей бы к месту прибыть, там хоть ночью, может, поспать удастся?

Тут-то и раздается странная, непонятная для людей команда «отдать старшинам свои вещевые мешки, в которых все нехитрое солдатское хозяйство: смена белья, полотенце, портянки запасные, мыло, бритва, бумага для писем, обрывки газет на закурку, ножичек, у кого и пара сухариков сэкономленных». Все нужное, для жизни необходимое, а главное, – невесомое совсем. Чего начальство удумало? Чтоб немцев сподручней было гнать? Да не мешки оттягивают спины и шеи. Тянут пояс автоматные диски, гранаты, противогаз, запас патронов, каски тоже давят голову, а больше всего осточертели лыжи с палками, которые без дела тащат они всю дорогу. С нехотью расстаются бойцы со своими вещ-

мешками, не видя смысла, необходимости в этом. Что, мертвые они уже, которым не надо ничего? Кто подогадистей, рассовывают содержимое мешков по карманам, а кто еще поумнее – выбрасывают противогаз и в сумку от него упрятывают все. Остальные – по недомыслию – сдают мешки со всем имуществом.

И не легче стало идти, а труднее, потому как после отдыха свертывают они с большака и сквозь лес по снежной целине топают. Некоторые на лыжи пробуют стать, но крепления на них – хуже быть не может, соскакивают лыжи на каждом шагу, одно мученье, и приходится это дело отставить. Начальство дорогу эту, видать, некрепко знает, – останавливается батальон часто и стоит долго, пока они там по карте сверяют... Два раза поворачивают их обратно, все же к середине ночи выходят к большому селу.

Здесь-то и видят они фронтовое небо во всей его красе и жути. Красными пунктирами секут его трассирующие, голубовато вспыхивает горизонт, а где-то слева багрово догорает пожар... Вдалеке раскатами грома бахают «катюши», и долго рокот катится по окрестностям, пока не замирает...

Жадно смотрят ребята на эту иллюминацию, – интересно все очень. И думают – поверни их сейчас обратно, назад, в тыл, почувствуют они разочарование... Как же пройти мимо, не испытать, не узнать, что такое война? Да никак это невозможно!

Недолго постояли они в селе, двигают дальше. Вроде и

усталость прошла, будто магнитом тянет к себе недалекая передовая. Командирам глотки рвать уже не надо: идут люди и так, не растягиваются, не отстают...

И вот видит Пахомов свою Волгу... Но она ли это? Узенькая, с пробитым минами и снарядами льдом, какая-то жалкая... Но все же чувствует: душат слезы. Нагибается у проруби, берет ладонями обжигающую холодом воду и... пьет. Хочется еще постоять, поглядеть на родимую, но напирает сзади взвод, и шепотливая команда: «Вперед, вперед!» – гонит дальше.

Рядовой Диков опасно смотрит на реку: то тут, то там чернеют проруби, выбитые не ломом и лопатой, – значит, долетают сюда немецкие снаряды. Вот и дошел он до фронта, ничего придумать не смог. Зловеще темнеет противоположный крутой берег с огромными соснами, а в просветах между ними мечутся вспышки ракет, холодом заходится сердце. Осторожно переходит он реку, обходя полыньи, и вдруг одной ногой проваливается в трещину во льду. Останавливается. Сверкает радостно мысль – вот и выход! Нагибается, будто ботинок зашнуровать, пропускает взвод и, увидев, что сзади никого, резко, не вынимая ногу из трещины, валится на лед, взвизгивая от боли. Больно! Это хорошо! Значит, перелом! И чувство дикого облегчения заглушает боль, но он стонет, громко стонет, пока не подбегает к нему Коншин:

– Что за фокусы, Диков? Чего лежите?

– Наверное, ногу сломал, командир, – охая и подскуливая,

отвечает Диков.

– Санинструктор! – кричит Коншин. – Подите сюда!

Санинструктор ощупывает ногу Дикова, мнет ее, не обращая внимания на его «охи», а потом, попросив Коншина придержать малость Дикова, дергает его за ногу, вправляя вывих.

– Вот и все, Диков. Можешь топать дальше.

– Не могу я! Не могу! Вы что, не понимаете? Сломал я ногу-то! Сломал!

– Ерунда, никакого перелома. Вставайте!

Диков смотрит ненавидящими глазами и на санинструктора, и на Коншина, но медленно поднимается. Не вышел номер! И, прихрамывая больше для вида, ковыляет за взводом, безнадежно понимая, что ничего не придумать.

– Вы эти штучки бросьте, Диков, – с угрозой говорит Коншин.

И тот видит: раскусил его помкомвзвода, будет за ним теперь особый присмотр.

Не без труда одолев крутой берег и пройдя немного по лесу, выходят они к снежному полю без конца и края. Только светится неясно даль каким-то туманом голубоватым, но не определишь, далеко это или не очень, так как посыпала с неба снежная крупа, мелкая, но видимость убавившая. Может, совсем близко передовая? На всякий случай из-за деревьев пока не выходят, команды «дальше идти» нету, стоят, жмутся... Холодно, многие, реку переходя, в полыньи попа-

ли, полные ботинки воды начерпали. Переобуться бы, хоть портянки отжать, но не решаются, – ждут команды «вперед» ежеминутно. Так около часа и стоят... Потом собирает комроты Кравцов взводных и говорит, что дальнейшее движение будет повзводно, что он идет с первым взводом и, дойдя до места, пришлет связного.

Настороженно трогается первый взвод с Шергиным во главе и скоро скрывается в серой темени, а остальным стоять, дрогнуть на мартовском пронизывающем ветру, и ни костра разжечь, ни курнуть, конечно... Стоят, мерзнут, поглядывают вперед, на тускло мерцающую даль, за которой затаенный и притихший до времени фронт...

А протор в снегу, что протопал первый взвод, вскоре заметається, и это, казалось бы, естественное и обычное, вдруг действует на людей угнетающе, словно сгинул взвод навсегда и следов даже не оставил.

Четин, прихрамывая немного из-за стертой ноги, неровно ходит туда-сюда, и морщинка, что легла на его лоб вчера на дневке, так и осталась. Перешел с Коншиным опять на «вы», держится официально, на бойцов покрикивает... Видно, поверил в себя лейтенант после вчерашнего трудного решения. Коншину не нравится он в новом обличии, уж лучше бы «кюхлей» оставался. Как бы не наломал дров.

После разговора с Савкиным по-другому смотрит Коншин на людей. Досадливо вспоминает, как гонял их на формировании, заставляя делать многокилометровые пробеж-

ки, как изводил их строевой и тактикой... Ему-то самому что? Молодой, натренированный. А каково пожилым из запаса, каково тем, кто из госпиталей? Не думалось тогда про это, а сейчас схватывает сердце позднее сожаление... Глядя на почерневшие лица, секомые колючей снежной крупой, на красные невыспанные глаза, в которых маета ожидания, еще больше ощущает он неразрывную связь с ними. И понимает – важно это очень.

Наконец, связной от ротного! Трогаются они, опасливо вглядываясь в снежную пелену, и через полчаса доходят до разбитой, сожженной деревни, стоящей около большой дороги, может, большака... Связной уводит третий взвод, а им опять ждать, и хуже этого не придумаешь. Ноги у тех, кто замочил их, переходя Волгу, заледенели совсем, но тоже не переобуться – вдруг сразу дальше? Вот и притоптывают на месте, от нечего делать деревню эту, разорище это, рассматривают... Воронки тут свежие, только чуть снегом припорошенные и по размерам большие. Видать, тяжелая артиллерия работала. На крыше полусожженного сарая – кровать железная, дугой выгнутая: наверно, взрывной волной на эту крышу заброшена.

Передовая здесь звучит уже погромче и внятнее. Издалека все звуки мешались и сплошным гулом доносились, а тут: вот пулеметная очередь прострекотала, вот над головами снаряд прошелестел и взорвался где-то глухо, вот мина противно завыла и хлопнула с треском в стороне... И ракеты

уже различимы. Не сплошным маревом, а каждая в отдельности, и освещают людей блеклым, будто нездешним светом...

Все это они на слух и на глаз принимают очень внимательно: может, это последнее, что унесет с собой их память...

Тем временем старший лейтенант Кравцов и командиры других рот находятся в на скорую руку сделанном блиндаже комбата в деревне Черново, которая почти на передовой.

Говорит капитан Шувалов. Торопливо, с хрипотцой в голосе (видно, застудился на марше в своей фуражечке) сообщает ротным, что до рассвета должен батальон занять исходные позиции и сменить находящуюся там часть. Показывает по карте, какой роте где расположиться. Напоминает, что надо окопаться, так как нет окопов на передовой (вот это да!), не успели, дескать, выкопать... Потом с натугой, цедя слова, говорит, что сведений о противнике мало, почти что никаких, и что будет он просить комбрига повременить с наступлением, чтоб получше разобраться в обстановке. Ротные облегченно вздыхают... Глаза комбата, белесые и чуть навывкате, немного затуманены то ли усталостью, то ли хватил стопку для бодрости, – а красивое лицо с кривоватым горбатым носом осунулось, у тонкого рта наметились морщины... Не сказал он пока ротным главного: что, наверное, сведения о противнике придется добывать им самим, что намекал комбриг о возможной разведке боем, а что это такое, комбат представляет себе вполне, хоть и не воевал. Хорошо,

если одной ротой обойдется... Но немец-то не дурак, – поймет, что разведка это, не станет открывать огня из всех своих огневых точек, разобьет роту одним пулеметным и ружейным огнем. И тогда уж придется всем батальоном... Поеживается капитан, в груди словно кол забит, – и больно, и дышать трудно...

Подавленный выходит Кравцов из блиндажа. Не нравится ему нервозность комбата, неприятно поражает, что нет окопов на передке. Легко сказать – окопаться! Знает он, как колупать мерзлую землю малыми саперными, да тут еще спотыкается о немецкий труп, лежащий прямо у блиндажа, пускает матюка, и совсем ему становится не по себе. Да, обстановка что-то хреновая, и защемило вдруг сердце тяжелым предчувствием.

Связного за взводом Четина он послал еще до совещания у комбата и теперь, прислонившись к раскидистой черной липе, стоит и ждет взвод, жадно покуривая в рукав.

А взвод, промерзший, матерившийся поначалу про себя, а потом уже и вслух, все еще стоит у большака и тоже ждет. Ждет связного, которого почему-то все нет и нет...

Несколько раз подходит Коншин к комвзвода и говорит, что надо двигаться, что нечего ждать связного, что мог он заплутаться, но тот все медлит.

А ночь идет к концу... Облакастое небо чуть светлеет, и все понимают: на передовую надо прийти затемно, скрытно; и всех злит и тревожит нерешительность Четина.

– Надо идти, лейтенант, – в который уже раз говорит Коншин.

– Подождем еще немного.

– Чего ждать? Застыли все. Рассвета дождемся – перестреляют нас немцы! Нельзя более ждать! Идти надо! – встревоженно гудит взвод, на что Четин ненатуральным баском покрикивает:

– Отставить разговоры!

– Вы не правы, лейтенант. Надо двигаться, – тихо, чтоб не слышали люди, убеждает Коншин.

Четин и сам понимает, что ждать больше нельзя, сам клянет себя за робость, но не знает он, куда идти. Ракеты шпалят кругом, и не понять, где же передовая; и боится взводный, что заведет людей неведомо куда. Ему кажется, нужно через большак и правее, а сержант доказывает – брать левее. Компас у Четина есть, но что компас без карты. И слышит он чей-то шепоток: «Заведет нас «щечки» к фрицам, как пить дать...» И наконец решается.

– Сержант, – говорит Четин как можно тверже, – я беру одного бойца и иду. Если выйду верно, пришлю его обратно, и он поведет взвод. Если не найду ротного, тогда пойдем, куда вы хотели.

– Да я уверен в своем направлении, лейтенант. Уверен...

– Вы меня поняли, сержант? – перебивает Четин резко.

– Понял! – отходит от него Коншин, выругавшись про себя.

Ругается про себя и Кравцов, уже около часа ждущий четинский взвод и пропавшего своего связного; ругается и стоящий около него проводник – грязный, в обожженной шинели боец, которому страсть как не хочется обратно, тем более когда засветлеет, а дело к тому идет. Ругается и начальник штаба, увидев Кравцова.

– Вы еще здесь? Где ваша рота? Светать же начинает! Какого черта! – кричит он, не слушая объяснений ротного.

Ругается, поминая и Бога, и мать, и второй взвод, продрогший, измаянный долгим ожиданием. Плюнув на страх и близость передка, не выдерживают и начинают осторожно покуривать, пряча в рукава шинелей коварные огоньки самокруток.

Ругаются и отделенные командиры, окружившие Коншина и твердящие в один голос: идти надо!

Но Коншин колеблется, не хочет бросать лейтенанта, да и неудобно принимать взвод при живом командире.

– Ну, товарищи, что будем делать? Ждать лейтенанта или трогаться? – обращается он наконец к взводу, когда уже стало ясно, что через полчаса рассветет совсем.

– Трогаться, сержант! – это говорит Савкин, которому лучше других понятно, что надо прибыть им на место затемно.

– Лейтенант уже небось к немцам забрел!

– Неверно он пошел, чего тут...

– Надо топать, сержант.

– Нельзя больше ждать!

И тогда командует Коншин:

– Взвод, слушай мою команду! – и ведет людей по избранному им направлению.

Минут через пятнадцать стали проглядываться в снежном дыму неясные, размытые тени домов и деревьев.

Но та ли это деревня? Вдруг другая, немцем занятая? Не завести бы взвод прямо им в лапы. Правда, что-то подсказывает: не обманывается он, но людей все же останавливает. Подзывает отделенных: что делать будем? А тут неожиданно вспыхивает ракета и бросает людей в снег – неужто так близко немец?

Командир первого отделения вызывается идти первым – разведать, та ли деревня. Поднимает ребят, развертывает в цепь и уходит. Остальные лежат в снегу, посматривают вслед – что будет, что случится?

Но ничего не случается. Благополучно доходит отделение до деревни, и сразу кто-то из бойцов бежит обратно – за ними, значит. Коншин, не дожидаясь, двигает взвод, и вскоре умученный ожиданием Кравцов встречает его.

– Куда вы, мать вашу... подевались?

Коншин объясняет причину задержки.

– Так и знал, что Четин! Черт бы его взял! Принимай взвод – и быстро на передовую! Вот проводник. И бегом, бегом! Понял?!

– Есть бегом! Понял!

И никаких мыслей, никаких ощущений – только скорей, скорей, пока не рассвело, пока спасительная темнота скрывает их... Быстрей, быстрей...

Спустившись с пригорка, на котором стоит деревня, влезают они в лес, и тут уж приходится гуськом по узенькой тропке. Торопятся, наталкиваются друг на друга, бьет всех противная дрожь... В полумраке грозно надвигаются на них лохматые ели, стегают по лицам колючие ветви, скользят ноги на обледенелом проторе... То здесь, то там темнеют треугольниками шалаши, а из них дымки. Жгут, оказывается, костры на передке! Жгут! Не боятся! А они за десять километров сигарку опасались прижечь! И приятно щекочет ноздри пряный запах горячей хвои.

И вдруг – стоп! Замирает Коншин, цепенеет. А сзади наваливается взвод, чуть с ног не сбивает... Стоит и смотрит под ноги, а там поперек тропки убитый! Лежит ничком, на спине расплывшееся коричневое пятно, в стороне каска валяется... Темнеет у Коншина в глазах, а в сердце будто что-то холодное ударяет. И те, кто рядом с ним и видят то же, затаивают дыхание и – ни с места.

Проводник, перешагнувший труп запросто, оборачивается к ним с усмешкой:

– Давай, давай, командир... Насмотришься еще...

Закрывает глаза Коншин и перешагивает, за ним и остальные – кто обходя, кто перепрыгивая... И вперед, вперед, к той главной черте, к которой подвел их Селижаровский

тракт и за которой будет испытывать их война и на жар, и на холод, и на излом, и на сгиб... Ну а кому остаться за этой чертой навек, – это уж судьба...

Трусой бежит взвод по скользкой тропке, вроде бы согреться пора, но не перестает бить озноб, – видно, не в холоде дело.

Коншин, еле успевая за проводником, старается глядеть только вперед, но какая-то сила заставляет его кидать взгляды по сторонам, и каждый раз натывается глазами на убитых...

– Далеко еще? – спрашивает он, чтобы вернуть себя к реальности, потому как темный лес этот, шалашики, окутанные дымкой, и распластанные то здесь, то там убитые, будто сон какой кошмарный.

– Километр еще... – отвечает проводник, не оборачиваясь.

– Наступали?

– Наступали.

– Ну и как?

– И не спрашивай, командир, – махнул рукой проводник. – В первый раз, что ли?

– Да.

– Ничего... Пообвыкнешь.

– Страшно?

– Поначалу очень.

– Полком наступали?

– Не. Батальоном.

– Артподготовка была?

– Постреляли немножко. Со снарядами – худо, – досадливо поморщился проводник, добавив: – До нас еще одна часть наступала. Тоже не вышло. Все поле в наших.

Опять что-то ударяет по сердцу Коншина, и он больше ни о чем не спрашивает, – переварить все это надо.

А лес редет. Отбежали назад большие ели, пошел молодой – березки тоненькие, осинки, и сквозь них просвечивается что-то белое, большое. Поле боя, наверное? Что такое поле боя? Коншин хочет остановиться, осмотреться, но проводник убыстряет шаг, торопится. Рассвет хотя и медленно, но высветляет все вокруг.

Наконец обрывается лес перед оврагом, и метров сорок тут открытого пространства, а за ним редкая рощица, и оттуда тоже дымки вьются. Налево поле уже видно хорошо, и все глазами туда, но еще темно, и конца этого поля не видеть, и что за ним, неизвестно, лишь у края чернеют развороченной землей несколько воронок.

– Пойдете туда, – говорит проводник. – Там вас лейтенант встретит. Перебегайте по одному. Это место простреливается. Но пока темно – ничего, не робейте. Ну, бывайте, – он прикладывается к каске и быстро утопывает по целине, минуя тропку, занятую столпившимся взводом.

И стало без него как-то одиноко и страшновато. Подошли командиры отделений.

– Людей не растеряли? – спрашивает Коншин.

– Все туточки, – шепотом отвечает командир первого отделения, ставший помкомвзвода.

– Диков?

– Куда ему деться? Здесь.

Взвод стоит, переминаясь с ноги на ногу, взмокший от быстрой ходьбы, окутанный легким облачком пара, умаянный бессонной ночью, да и всей этой дорогой.

Коншин приказывает перебежать овраг. И каждый перебегает его по-своему: кто помешкав немного, кто сразу, как в холодную воду, с размаху, кто пошептав что-то про себя, а кто и перекрестившись... Кое-кого приходится подталкивать в спину, приободрить матюком, что и делают отделенные почти шепотом, боясь поднять голос, потому как уже где-то неподалеку немец...

– А ну, по-быстрому! Давай, давай, не робей...

Коншин перебегает овраг последним и сразу же у опушки сталкивается с лейтенантом – возбужденным, с красными, усталыми глазами.

– Понимаешь, наступали два раза, – ни хрена не вышло, – хриплым полусшепотом выкладывает лейтенант, – осталось двадцать. Держим оборону. Коротко обстановочку. Подойдем ближе. – Он хватается Коншина за рукав телогрейки и тянет к краю леска.

То, что видит Коншин на поле, наполняет его ужасом. Он с трудом понимает лейтенанта и все смотрит и смотрит на

заснеженное бесконечное поле с ржавыми пятнами воронок и раскиданными трупами...

– Это Паново, это Овсянниково, там слева Усово, – поясняет лейтенант. Наступали на Овсянниково. Как видишь, немцы с трех сторон. Сейчас рассредоточь людей. Как рассветет, – начнет давать. Ну, все ясно?

Коншин не отвечает, не сводя глаз с поля... За ним чернеет деревня со скелетами деревьев, а дальше – лесок. Справа тоже деревенька. На поле подбитый танк и три черных пятна около него...

– Да очнись ты! Все ясно?

– А где окопы? – бормочет Коншин.

– Окопы? Чего захотел! Нет тут ни черта! Ну, бывай, желаю удачи. Не забудь выставить наблюдателей.

Лейтенант торопливо собирает своих людей и резко перемахивает с ними через овраг. Второй взвод первой роты остается один...

Люди сбились в кучу посреди роци и ждут... Ждут от Коншина каких-то действий, какой-то команды, а он, очумелый от всего виденного, не может собраться с мыслями и стоит, уставившись на поле, представляя уже ясно, что сегодня, может, через несколько часов, может, через час, придется ему и его взводу бежать по этому полю... У него странно обмякают ноги, ему хочется присесть, он оглядывается, ища места, куда бы, но встречает тяжелые ждущие взгляды, направленные на него, и среди них черные грустные глаза

Савкина, немым укором напоминающие – думать надо, командир, думать...

И эти взгляды, и сознание, что пятьдесят два человека ждут от него каких-то слов, каких-то решений, сгоняют одурь страха с Коншина, и он начинает озираться, ища какие-нибудь укрытия, но у края рощи только выкопанные в снегу ямки – жалкое подобие окопов для стрельбы лежа...

– Будем занимать оборону. Командирам отделений расконцентрировать бойцов! Интервал как можно больше. Скоро начнется обстрел, – повторяет он слова лейтенанта.

А что такое обстрел? Как спасти от него взвод? Ни землянок, ни блиндажей, ни окопов! Только эти ямки! Коншин вспоминает, какой невероятной толщины должен быть бруствер снежного окопа, а тут... А мины? Коншин ни разу не видел, как они рвутся, слабо представляет он и их убийственную силу.

– Выставить наблюдателей, – вспоминает он совет лейтенанта, – дать секторы наблюдения и обстрела.

Что же такое минометный обстрел? Как уберечь взвод? Неужели вот так, не вступив даже в бой, потеряет он людей? Что же делать?

Отделенные разводят людей, выставляют наблюдателей, а Коншин, вынув малую саперную лопатку, начинает углублять ямку, которую кто-то до него копал. Но лопатка вскоре утыкается в мерзлую землю, колупать которую уже бессмысленно. Ни на сантиметр не поддается каменная земля. Кон-

шин бросает лопатку, откидывается телом к стволу дерева и неверными пальцами свертывает сигарку. Становится опять холодно, и опять начинает бить мелкая дрожь.

Медленно, очень медленно светлеет покрытое облачками серое небо, и промозглый холодный рассвет постепенно высветляет рощу. Коншин поднимается, оглядывается: стреляные гильзы, пробитые каски, брошенные противогазы, цинковые ящики с патронами, котелки, кружки, окровавленные бинты – все это валяется вокруг в снегу в страшном и непонятном беспорядке. Это поражает. Как все военное имущество береглось в кадровой! Давали наряд за пыль на противогазе. Отчитывались за каждый выстреленный патрон в нескольких ведомостях. Ржавчина в канале ствола – ЧП. А тут все изломанное, словно никому не нужное, разбросано по роще. И этот беспорядок тяжело действует на Коншина.

Подходит Савкин.

– Какие впечатления, товарищ командир? – спрашивает он со своей обычной улыбкой.

– Пока ничего, – как можно бодрее отвечает Коншин.

– Где у вас капсулы от гранат?

Коншин залезает в карман брюк и достает их.

– Положите в левый карман гимнастерки... Понимаете, почему?

Не совсем.

– У нас одному полбедре отхватило. Пуля как раз по карману брюк скользнула... ну, они и взорвались.

Коншин теперь понимает и перекладывает завернутые в бумажку капсулы в карман гимнастерки... Да, если пуля или осколок попадет сюда, то уже не важно, взорвутся они или нет...

– Теперь лопатка... – продолжает Савкин.

– Что лопатка?

– Выньте из чехла и заткните за пояс железякой вниз. Поняли? Вот так. Живот прикрывает...

Коншин понимает. Но эти приготовления к тому, что в твое тело будут входить пули или осколки, и то бесконечно малое, что ты можешь сделать, чтоб его защитить, заставляют тошнотно заныть низ живота и вызывают нервную зевоту, которую он не может унять.

– Почему нет окопов? – спрашивает он Савкина, чтобы что-то сказать и этим разговором скинуть с себя то противное и унижительное, что копошится в душе.

Савкин в ответ пожимает плечами:

– Видимо, не успели. Черново взято несколько дней назад.

– А у немцев они есть, как вы думаете?

– Наверняка. В Чернове обороны было не видать. Они сдали его, наверно, без особого боя, а вот в тех деревнях укрепились... Брать будет трудно. Видите, сколько угрохали народу... – он молчит, а потом досказывает с горечью: – Да, порядка, на мой взгляд, не прибавилось...

– Прекратите, Савкин, – обрывает его Коншин.

– Товарищ командир! – подбегает к нему сержант с пер-

вого отделения. Диков отказывается выполнить приказание! Назначил его наблюдателем, а он не желает подходить к краю и занимать свое место.

– Пойдемте! – бросает Коншин, и они почти бегом направляются туда.

Диков сидит, прижавшись спиной к елочке, с выпученными белесыми глазами, и его бьет, как в лихорадке.

– Встать! – командует Коншин взбешенно.

Тот неохотно, словно поднимая тяжесть, с трудом встает, в глаза не смотрит, руки дрожат.

– Марш на свое место!

– Не пойду-у... – глухо, с каким-то завыванием отвечает Диков и начинает трястись еще больше.

– Повторить приказание! – повышает голос Коншин и берет автомат на изготовку.

– Почему я? Почему? – взвизгивает Диков и пытается снова опуститься на землю.

Коншин схватывает его за рукав и держит, не давая присесть.

– Сержант, позовите трех человек! – говорит Коншин, продолжая удерживать Дикова, и смотрит ему прямо в глаза, но тот увиливает от взгляда, шаря зрачками по сторонам.

«Что делать?» – думает Коншин. Впервые за его армейскую службу такое: боец отказывается выполнить приказ. И где? На передовой! Ему противен этот здоровый и сильный мужик, трясущийся, с отвисшей челюстью, и ему хочется его

ударить, но этого в армии нельзя. И тут чувствует Коншин, как страх, сжавший его поначалу, отпускает понемногу, как начинает сходить оцепенение первых минут, как презрение и злость к Дикову, необходимость действий совершенно сгоняют то ощущение кошмара, охватившее сперва при виде передовой. Он словно просыпается. Подходят двое бойцов.

– Взять его и отвести на место! – голос Коншина уже тверд.

Дикова хватают за руки. Сначала он только упирается, но потом начинает вырываться и, вырвавшись, падает на спину. В глазах ужас и ненависть. Его уже втроем – отделенный тоже – пытаются поднять, но он отбивается ногами, и его никак не удается схватить.

– Оставить! – Коншин подходит вплотную к Дикову.

Тот все еще сумасшедше бьет ногами по воздуху... «Да у него истерика», – думает Коншин и решает действовать по-другому.

– Успокойтесь, Диков! Я все равно заставлю вас выполнить приказ. Понимаете – заставлю.

– Почему я? Почему меня... наблюдателем? – бормочет он.

– Оборону занимают все. Сегодня в наступление пойдут все. И вы тоже. Если откажетесь, вас расстреляют на месте. Вы понимаете это?

Нет, Диков ничего не понимает... Коншин же начинает видеть бесполезность своих уговариваний, хотя сколько раз

в армии спокойный разговор действовал больше, чем угроза. Но с Диковым никогда не было взаимопонимания, Коншин не чувствует его как человека, но знает только одно: надо во что бы то ни стало заставить Дикова выполнить приказ. Во что бы то ни стало!

Вокруг них собрались уже несколько человек. Что же делать? Грозить автоматом? Но если он и тогда не выполнит приказанное? Стрелять? Нет! Вряд ли он, Коншин, это сможет. Что тогда? Стрелять же надо насмерть. Любое ранение Дикова только обрадует. Насмерть! Нет, он не сможет... Но он должен заставить, должен! Медленно, не сводя глаз с Дикова, Коншин поворачивает ствол ППШ на него.

– Встать! – Коншин старается сказать это спокойно и твердо.

Диков подбирает под себя ноги, приподнимает туловище, но вставать не собирается. Коншин взводит затвор. Его щелчок резко звякает в тишине. Диков вздрагивает и вдруг, сидя, отталкиваясь руками, пятится назад, его выпученные глаза становятся бессмысленными. Коншин чуть трогает спусковой крючок, уже понимая, что сейчас произойдет что-то отвратительно страшное и то, что произойдет, будет уже необратимо, будет навсегда.

– Погодите, командир, – встает перед ним кто-то из бойцов, а потом, матерясь, хватает Дикова за воротник шинели.

– Ты что, лучше людей, гнида паршивая? Бери его, ребята! – и без всякой команды со стороны Коншина несколько

человек наваливаются на Дикова, хватают его за руки, за ноги и волоком тащат к снежному окопчику для стрельбы лежа, что у самого края, и бросают в него.

– Смотри, гад! От нас пулю заработаешь, если чего... – говорит тот из бойцов, кто первый его схватил.

Отделенный дает ориентиры для наблюдения, а Коншин облегченно вздыхает, вытирая с лица выступивший пот, и осторожно спускает затвор автомата. Тут его взгляд утыкается в лежащий рядом с окопчиком труп. Вот, оказывается, что навело ужас на Дикова.

Стараясь не глядеть на поле, Коншин обходит рощицу. Взвод рассредоточен, наблюдатели выставлены, но люди напряжены – ждут обстрела. Ждут, зная, что деться некуда, спрятаться негде, укрыться нечем. Живой, трепетной плотью примут они этот минометный обстрел, а как эта плоть хрупка, мягка, как легко она разрывается на куски, как легко пробивается осколками или пулей они уже видели воочию, пока шли по изломанной роще, пока боязливо кидали взгляды на серое мертвое поле...

Комроты Кравцов тем временем находится с первым и третьим взводами своей роты в середине рощи, около землянки помкомбата. С одобрением смотрит, как Шергин без команды умело рассредоточивает свой взвод, отдавая короткие, но спокойные распоряжения. Надежный парень, думает Кравцов, потом вспоминает потерявшегося Четина. Ладно, черт с ним! Коншин, пожалуй, покрепче будет...

К землянке торопливо тянут провода связисты, и слышно оттуда, как помкомбата проверяет связь: «Волга», «Волга»...

Кравцов, оглядев поле, уже понял, что положение не ахти, и второй раз подумал за нынешний день, что вряд ли ему из предстоящей заварухи выйти, но подумал спокойно, так как уже давно, когда в кадрах решил остаться, понимал, что жизнь принадлежит ему лишь до первой войны, и то, что он на ней, и то, что погибнуть на ней вполне возможно, – для него дело обыкновенное, обычная служба. Но вот ребяток своих ему жаль. Мальчишки же в большинстве, ничего-то в жизни не видали.

Потом он спускается в землянку и просит у помкомбата бинокль: ротным их не хватило на формировании, только начальству выдали. В бинокль поле и Овсянниково видны хорошо, даже «спирали Бруно» у немецких окопов четко выделяются, а три черных пятна у танка – это танкисты лежат, лежат рядком, видны шлемы хорошо, и планшетка у одного... Начинает Кравцов считать убитых на поле, но сбивается быстро, да и ни к чему... Чуть теплится надежда, что комбат добьется отмены наступления на сегодня, надо же оглядеться как следует, примериться, но надежды-то чуток, да и ее надо отбросить. На войне лучше на худшее примеривать, так-то вернее.

Спустившись в землянку, отдает он бинокль помкомбата. Связь уже налажена, и тот докладывает капитану, что роты

на исходном рубеже, рассредоточены и готовы к выполнению приказа. Кравцов смотрит на помкомбата: пацан еще, с двадцать второго года, звание – только лейтенант. Почему его назначили помкомбата, одному богу известно! Ну, образование, наверно, среднее и училище полное, не то что у Кравцова, но опыта-то никакого, сопляк еще совсем. Уже сейчас видно, что нервничает, губа нижняя подрагивает, голосок срывается...

Выбирает себе местечко Кравцов, присаживается, крутит сигарку, а на душе муторно. Опять мелькает мысль о Четине, – куда забрел, бедолага, где заплутался и как бы к немцам не попал.

Но не успел он о нем подумать, как видит запыхавшегося Четина, румянец с лица сдут, глаза шальные, тянет руку к каске, но Кравцов зло предупреждает его доклад:

– Марш к взводу!

– А где он? – мямлит Четин.

– Это я вас должен спросить! – почти кричит Кравцов, а потом взмахивает рукой и цедит: – Выйдите, и по тропке направо до оврага. Перейдете его, – там ваш взвод. И бегом! Понимаете, бегом!

– Есть бегом! – еле слышно отвечает лейтенант и неуклюже выбирается из землянки.

– Набрали сосунков... – бормочет Кравцов, кидая выразительный взгляд на помкомбата. Но тому не до взглядов: связь все время прерывается, и он не может разобрать слов

командира батальона.

Не успел Четин выбраться, как разорвалась первая мина... А потом пошло... Помкомбата побледнел, сжался, а Кравцов неспешно стал вылезать из землянки: в этот первый для людей налет должен он быть с ротой, с ребятками.

А второй взвод Коншина расположился, где кто мог. Норовят все выбрать себе деревце, чтоб прижаться к стволу во время обстрела, но на всех деревьев не хватает – жмутся к кустикам, к осинкам тоненьким, хоть бы видимость какая их укрыла. Кое-кто в шалашах залез, было здесь три шалашика, – все не на открытом месте.

Коншину наконец-то удается отковырнуть несколько комьев земли, и он продолжает эту почти бессмысленную работу, лишь бы не думать, лишь бы что-то делать, – ведь вот-вот должен обстрел начаться, рассвело уже совсем. Но мысль о Дикове не уходит, и он решает идти к нему. Тот лежит, уткнувшись головой в снег, не хочет он или не может заставить себя глядеть на поле, черт его знает.

– Почему не наблюдаете? – окрикает его Коншин.

Диков вздрагивает, скидывает голову и... вдруг с каким-то воем быстро отползает назад, бешено работая руками и ногами. Коншин наклоняется, раздвигает кусты... и обмирает. То, что он видит, похоже на галлюцинацию: посредине поля, недалеко от танка, поднимается непонятно во что одетая фигура и делает несколько шагов к роще... Потом падает. Снова поднимается и двигается на них. Ее замечают и

другие бойцы. Щелкают затворы. Кто это? Что это?

– Без команды не стрелять! – хрипит Коншин, все еще не понимая, что это, наверное, раненый, пролежавший всю ночь на поле и теперь очнувшийся и оживший для того, чтобы опять умереть. Его же застрелят немцы!

Почти весь взвод подтягивается к краю леска, весь взвод не спускает глаз, весь взвод мучительно ждет очереди, которая, несомненно, ударит с немецкой стороны и добьет раненого... Но пока тихо... Раненый несколько раз падает, лежит в снегу по нескольку долгих минут, затем опять поднимается и, волоча раненую ногу, медленно, но упорно ковыляет к ним.

– Все, готов, – шепчет кто-то, когда тот опять падает и очень долго не поднимается.

К Коншину подползает санинструктор.

– Не могу. Пойду я. Надо помочь, – говорит он.

– Не надо, – Коншин качает головой.

– Не могу глядеть. Наверно, сознание потерял...

– Не надо, – повторяет Коншин. – Убьют и тебя, и его.

– Встает, встает, – радостно проносится по цепи. Раненый поднимается и, словно в замедленной съемке, раскинув руки, чтоб не потерять равновесия, медленно, шаг за шагом, продвигается к роще... Немцы, на удивление всем, не делают ни одного выстрела, но взвод напряжен до предела, смотрит, затаив дыхание, не роняя ни слова, не тревожа ни одним движением тягостную, мучительную тишину передовой...

Трудно определить, сколько времени маячит по белому полю, среди воронок и трупов, эта фигура, – может, полчаса, может, час, но для взвода – вечность... Ежеминутное ожидание немецких выстрелов и смерти этого воскресшего на мертвом поле человека измотало людей, и поэтому, когда санинструктор не выдерживает и бросается ему навстречу, подхватывает и волочит к роще, когда делают они последний шаг и кусты скрывают их от немцев, общий вздох проходит по передку... И сразу после этого все начинают говорить.

Раненый был в рваном, запачканном кровью маскхалате, потому и выглядел так необычно.

– Пить, – бормочет он и теряет сознание. Но тут уже подходят санитары с носилками, его укладывают и уносят.

Почему немцы не стреляли? Неужели не видели? Не может быть! Он столько времени одинокой мишенью маячил на поле! Что это? Конечно, добить раненого подлость. Но разве все, что делают немцы, – не подлость? Почему же не стреляли? Возможно, только два-три фрица-наблюдателя видели его, и эти два-три оказались не сволочами? А может, проспала? Вопрос остался безответным. Коншин, очнувшись, командует разойтись всем по своим местам.

Проходя в середину леса, Коншин слышит стон. Где-то совсем рядом. Бросается к небольшому шалашику – в нем, скорчившись, лежит раненый с посиневшим лицом, совсем мальчишка.

– Братцы... – стонет он и растирает слезы на чумазом ли-

це.

– Откуда вы? Вчера наступали? – спрашивает Коншин.

– Не-е... Третьего дня, наверно... Перевязали меня и забыли. А я то очнусь, то в забытьи...

Повязка у раненого вся в запекшейся крови, а сам он маленький, жалкий...

– Санитары! Где санитары? Ко мне! – кричит Коншин, выскочив из шалаша.

Вместо санитаров подбегает Савкин.

– Видите – третий день валяется! – негодуя бросает Коншин.

– Я же говорил вам... – покачивает тот головой.

Они вытаскивают раненого из шалаша. Тут поспевают и санитары.

– Немедленно в санвзвод! Скорей! – Санитаров уговаривать нечего: обстрел-то вот-вот начнется. – Сразу возвращаться! Поняли?

– Вот так-то, сержант... – задумчиво говорит Савкин. – Такие дела.

– Черт знает что! – возмущается Коншин.

– Вы думали, что всех раненых обязательно подбирают?

– А как же?

– Не до того в бою бывает. Сосед по цепи, увидев, что ты ранен, может только перевязать тебя и должен спешить дальше. Тащить тебя в тыл он права не имеет. Должны санитары. А много ли их? Теперь понимаете?

– Да, – шепчет Коншин.

Все это странно и страшно, но, видимо, это и есть война: будни войны, быт войны, непорядки войны. И со всем этим надо примириться, потому как ничего не изменишь, ничего не сделаешь. Такова война. «Но почему не изменишь?» – думает он. Нет, пока он жив и в состоянии командовать, ни один раненый не останется на поле боя, не останется без помощи... Да, да, обязательно. Он говорит об этом Савкину. Тот еле заметно улыбается.

– Ваша обязанность, командир, вести бой. Не до того будет.

Рассвело уже совсем, и Коншин заставляет себя идти к краю, осмотреть поле боя, как положено, наметить ориентиры, возможные укрытия в складках местности и, может быть, разглядеть немецкую оборону.

Поле расстилалось метров на восемьсот... Метрах в трехстах стоит черный подбитый танк – первый ориентир. Немного в стороне, почти посреди поля, – две одиноких березы. Откуда они на поле? Но это ориентир номер два. Дальше темнеет крышами Овсянниково... Убитые лежат ближе к роще. Не прошли и половины пути. Снег на поле желтоватый, и кое-где рыжеет земля, как подтеки крови... Коншин отворачивается: в голове туман, в горле какой-то комок, который он не может выпершить. Все как в тяжелом сне. Но нет, это все настоящее – и поле, и деревни, которые они будут брать, и мертвые. Это правда. И надо как-то приспособ-

ливать себя к ней.

Он отходит от края, находит свою лежку около большой ели, присаживается, закуривает... И вдруг чувствует невероятную усталость во всем теле, глаза слипаются, и то напряжение, которое держало его эту ночь, это утро, спадает, сознание отключается, и он задремливает, может быть, на минуту, может, на десять... Но в воздухе уже что-то завывает, звук нарастает, переходит в визг, потом захлебывается, раздается взрыв. Коншин вскакивает, а потом сразу падает, прижимается виском к стволу дерева и лежит... Начался обстрел! «Вот что это такое», – думает он, почему-то не испытывая ожидаемого страха. Может, потому, что мины рвутся сравнительно далеко. Несколько плюхаются, не долетев до роши, на поле; несколько перелетают ее и рвутся на другой стороне леска. А может, потому, что сидит в душе какая-то глупая уверенность, что налет кончится благополучно. Но все же его тело непроизвольно сжимается, он весь напрягается, когда над ним завывает мина, и только с ее взрывом где-то в стороне его ненадолго отпускает, но звук следующей мины заставляет вжиматься в землю и холодит тело.



Московская область. Советские пехотинцы атакуют вражеские позиции



Санинструктор выносит с поля боя раненого бойца



Больше шести месяцев шла битва под Москвой. Красная Армия разгромила гитлеровские войска и отбросила их на 100–300 километров от столицы

Обстрел длится минут пятнадцать, но сосчитать, сколько было пущено мин, Коншину не удалось, – не до того. Вот вроде тишина опустилась на передовую, наверное, все, кончили немцы? Он поднимается и зовет отделенных. Удивительно и счастливо – никого не задело. Бредет по роще и видит, как, потягиваясь, приподнимаются ребята со своих лежек, как сходит с их лиц землистая бледность, как оживают глаза... Закуривают, и начинаются разговоры. Прошли пер-

вые страхи, первое оцепенение при столкновении со смертью, и жизнь вступает в свои права.

– А кормить нас собираются, командир? – слышит он первый вопрос.

– Об этом до ночи забудь, – говорит кто-то из «бывалых».

– А в общем-то бьет фриц не очень прицельно.

– Жить можно...

Да, оказывается, на этом пяточке можно жить... Да, можно... Лишь бы начальство не трепыхалось, лишь бы не тревожили их больше, а оставили здесь. Смастерили бы они шалашики, устлали их лапником, а в касках, валяющихся кругом, жгли бы маленькие костерики для согрева и для прикурки... В общем, жили бы...

Кто-то начал уже штыками от СВТ подрубливать молодые елки, кто-то уже обламывает ветки – сооружает себе лежки, чтоб не на снегу валяться. Но. Вот это «но» давит и сжимает сердца холодом... Временно они здесь, видно, и ждет их другое: бежать им сегодня по этому полю, извиваться под пулями, а добегут ли до той чернеющей вдаль деревеньки, одному Богу известно... Как поглядишь на это поле, на серые комочки, там лежащие, так и подумаешь: ничем ты от них не отличаешься, только вчера были они тоже живыми, только вчера выхрипывали «ура», а вот полегли навечно... Потому не смотрят ребята на поле, отводят от него глаза, а чтоб не думать, стараются занять свои руки и головы другим. Потому и взялись после обстрела за разные мелкие дела. И о

кормежке разговоры для того же – отвлекаться, почувствовать себя живыми пока, и остальные разговоры для того же...

– Что ж это начальства нет?

– Завели взвод на пяточок, а сами...

– А фрицы с трех сторон...

– Порядочки, – этот ехидный голосок слышал Коншин еще в эшелоне.

– А и верно, командир, где ж ротный, политрук? – подходит один из отделенных. – Сходили бы узнали.

«Сходить надо бы, – думает Коншин, – но как при свете овраг переходить? Наверняка немцы наблюдают, наверняка нацелены туда снайперские винтовки, да и взвод покидать вроде бы нехорошо». Но и второй отделенный про то же твердит: надо узнать, где начальство, – ворчать люди начали...

Подходит Коншин к оврагу... Да, метров сорок открытого пространства, ни кустиков, ни пенечков. А справа – занятая немцами деревня за полем. Прогляд и прострел для немцев – лучше не надо.

Савкин, провожавший его до оврага, говорит:

– Вон к той сосне бегите, а там перележите. Когда кончат стрелять, тогда уж дальше двигайтесь.

– Думаете, стрелять будут?

– Наверняка. Наблюдают за этим местом.

Коншин напрягается, старается подавить нервную зевоту, которая вдруг накатила на него, и бросается через овраг. Уже

на той стороне он впервые в жизни слышит, как поют пули, а, обернувшись, видит, как врезаются они в дно оврага, как впиваются в оставленные им в снегу следы. Но и тут почему-то не очень ему страшно. Он хорошо ползает, хорошо окапывается, умеет примеряться к местности, и ему кажется, что от пуль можно спастись, другое дело – мины. Немец дает еще очередь и замолкает. Коншин поднимается, машет рукой Савкину, тот ободряюще улыбается – первое, так сказать, крещение.

Минометный обстрел, который шел в середине рощи, пожалуй, был посильней, чем на пятаке, занимаемом взводом Коншина, тоже обошелся без потерь для первого и третьего взводов кравцовской роты. Кидали немцы мины не очень-то точно, – много их рвалось перед лесом, много улетало вглубь и перелетало роту. Кравцов прохаживается и приглядывается к бойцам... Вроде, ничего, струхнули не очень. Сейчас дымят все сигарками, делятся между собой насчет прошедшего обстрела, но в глазах у всех одно – будет ли наступление? А Кравцов и сам пока того не знает. Уж если и наступать, то надо бы на рассвете. Но, видно, комбат с комбригом ведет переговоры, обещал же добиться отмены. И верно, надо осмотреться, хоть какие сведения о противнике получить, нельзя с ходу, наобум.

Подходит он к Шергину. Тот сидит на снегу, колени к подбородку, смотрит на поле, губы сжаты, но лицо вроде спокойное.

– Ну как, Шергин? – спрашивает Кравцов. Нравится ему этот взводный. При минометном налете хоть бы что в его лице дрогнуло, и людей умело рассредоточил.

– Я думаю, по этой балочке и вести взвод, – показывает рукой Шергин. – Видите, кончается она у танка. Может, полпути скрытно сумеем подобраться.

– Пристреляна она у немцев, Шергин, минометами.

– Да, конечно, но от пулеметов спасет. Пойду по ней.

– погоди ты, поперед батьки в пекло... Решается еще вопрос.

– По мне, уж лучше скорей...

– Да, эта тягомотина хуже всего, – вздыхает Кравцов. – Людей, Шергин, береги. Понял? – Шергин ничего не отвечает, только чуть заметно пожимает плечами. – И огонь веди, все время огонь.

– Куда? Ни черта же не видно.

– По направлению. Шпарь по деревне...

– Старший лейтенант, я ж не в первый раз... Вы скажите лучше: артподготовка будет?

– Должна, – неопределенно отвечает Кравцов, потому что в блиндаже комбата вопрос об этом был как-то смят. Прошелся по нему капитан вскользь: видно, не богаты мы снарядами.

Отходит Кравцов от Шергина какой-то неуспокоенный: вроде бы положиться на него можно, командир что надо, но предчувствует он что-то... А что, сам не ведает, но помнит

он по прежним боям: обостряется все на передовой до невозможности. И бывает так, что человек свое близкое предвидит. Точно знал Кравцов в прошлых боях, что ранит его непременно, и именно в ногу. Так и получилось. Хошь – верь, хошь – не верь в судьбу, а что-то человек на войне предчувствует, каким-то внутренним зрением прорывается в будущее, хоть и не особо далеко, хоть на несколько часов вперед, но прорывается.

Встречается ему на дороге Чураков – плотный, большой, с таким бы в рукопашную на немцев, – не подведет, руками фрицев передушит. И спокойный, черт, будто не впервые на переднем крае.

– Ну как, Чураков? – задает он вопрос.

– Живы будем – не помрем, – как всегда, осклабясь, отвечает тот.

– Это верно, – подтверждает Кравцов и кладет ему руку на плечо. – Надеюсь на тебя, Чураков. В случае чего, – взвод без команды принимай. Что Четин, что твой взводный... Надежды на них особой не имею.

Кравцов знает, что говорить такое не положено, что этим авторитет своих молоденьких лейтенантов подрывает, но впереди такое, в котором многое, если не все, будут решать младшие командиры, идущие в одной цепи с бойцами. Им с ходу придется решать задачи, которые поставит бой, и если сдюжат, то и пойдет все по порядку, а ежели нет... Да что думать, все равно без хорошей артподготовки, без поддерж-

ки танков не пройти им это поле... Да, не пройти... Но знает Кравцов, на сколько километров отошли они от Селижарова, от железной дороги, знает и этот Селижаровский тракт, занесенный снегом, и что не больно-то много попадалось на их пути машин с боеприпасами. Потому и надеяться особо не на что.

В землянке помкомбата, в которую спустился он погреться, народу невпроворот: и ротные, и политруки остальных рот, и ПНШ из батальона. Дым махорочный – хоть топор вешай. Сидят, курят, нервничают.

– Вот что, комиссар, – обращается он к своему политруку. – Сходи четинский взвод проверь. Как они там? Только овраг осторожней перемахивай. Ты мне в бою будешь нужен. Понял?

– Понял, – поднимается политрук, делает несколько коротких затяжек и выбирается из землянки.

Коншин идет по тропке, не глядя по сторонам, боясь наткнуться взглядом на убитых, и думает, что, пожалуй, самое страшное, что он увидел на передовой, это они...

И как что-то очень далекое, будто бы и не бывшее, вспоминается ему дальневосточный полк, ленинская комната в казарме, где строчили они свои докладные с просьбами отправить их на фронт срочно... Жалеет ли он о том, колет ли грудь запоздалое сожаление? Нет, пожалуй. Несмотря на все увиденное, вроде бы страшное, отчего душу захолаживает, он с удивлением обнаруживает, что все это, как ни странно,

интересно ему. Да, интересно! Другого слова и не подобрать. Даже предстоящее наступление, которого страшится, мысли о котором старается отгонять, даже оно. Как поведет он себя в бою, как заставит себя подняться с земли, как побежит по этому полю? И даже сейчас, перед боем, бродит в его голове мальчишеское – что покажет он себя, что совершит что-то необыкновенное... Но главное, конечно, не струсить. Это сейчас для него пострашнее смерти.

– Коншин! – окликает кто-то. Он поворачивается и видит политрука, забившегося под лохматую ель. Тот курит частыми, нервными затяжками, в глазах растерянность. – Потери есть во взводе?

– Нет, обошлось.

– Залезай, перекурим. Ты куда направился?

– Народ вас спрашивает или ротного. Вот и иду...

– Сейчас пойдем, а пока залезай.

Коншин приподнимает ветви и забирается под ель. Садится. Политрук молча протягивает кисет с легким табаком. Закуривают и некоторое время попыхивают сигарками молча. Политрук нервно тербит пальцами португепю, потом тяжело откашливается.

– Четина убило, – говорит он глухо, продолжая кашлять.

– Что? – вскакивает Коншин.

– На тропке он. В нескольких шагах отсюда.

И Коншин бежит. Лейтенант лежит на спине. Коншин не видит на его теле ни раны, ни крови, но лицо уже посерев-

шее, и так же обиженно опущены пухлые губы, как на последнем привале, когда он спал... Коншин долго стоит потрясенный, – первая смерть... И чья? Этого тихого мальчика, к которому и Коншин, да и весь взвод относились так несправедливо, с насмешками и подковырками. Прищемила запоздалая жалость. Долго протирает глаза Коншин жесткой рукавицей, потом наклоняется над Четиным, подбирает его автомат, планшет и плетется обратно.

– Первый... – тихо произносит политрук.

– Да.

– Взвод теперь твой. Пошлем бумагу, чтоб провели приказом.

Коншин устало и безразлично махнул рукой.

– Не радуешься?

– Нет. Ответственности боюсь.

– А ты не бойся. Сколько ты в армии?

– Почти три...

– Это кое-что значит. И курсы кончал... А бедняга Четин, наверное, только три месяца обучался... Ну, пошли, – поднимается политрук. – Как настроение у народа?

– До обстрела маялись, а сейчас вроде ничего...

Подходят к оврагу. Политрук замедляет шаг и проходится глазами по убитым.

– Простреливается? – спрашивает коротко и чуть поеживается.

– Ага. Пустил очередь, когда я перебежал.

– Ну, с Богом, – усмехается политрук и спокойно спускается со взгорка. Коншин за ним. Падают на той стороне.

За ними взывают пули, а потом уже слышат они треск пулеметной очереди.

– Гады! – матюгнулся политрук. – Окопов у вас там тоже нет?

– Нет. Три шалашика только.

– Дела... Ну, давай. Соберешь взвод сейчас.

– Нельзя, политрук.

– Ах да, понимаю. Поговорю с каждым в отдельности.

Ребята занимаются делом: кто шалашики сооружает, кто ковыряет мерзлую землю без толку, но все же из снега делают брустверы вокруг выкопанных ямок. Все же занятие. К политруку сразу вопросы насчет еды. Ели-то прошлым вечером, ночь топали, животы, конечно, подвело. Но кое-кто уже костерики маленькие запалил, набил котелки снегом – будут кипятком баловаться. Коншин с политруком присаживаются, снимают рукавицы, протягивают к огню руки, – вроде и телу теплее становится.

– Стопочку бы сейчас в самый раз, – говорит один из отделенных. – Для поднятия духа, – и поглядывает на политрука.

Но тот отмалчивается. Видно, другие у него сейчас мысли.

– Ну что ж, вижу – обустроились вы маленько, – поднимается он. – Настроение вроде бодрое... – Помолчав немного, политрук поворачивает голову к полю, взглядываясь в Овсянниково. Как ваша родная деревня называется? – обращается

он вдруг к Рябикову, находящемуся, как всегда, при Конши-не.

– Костенево, – отвечает тот с некоторым недоумением. – А что?

– Небось, такая же деревенька? И избы такие же? – продолжает политрук. – Похожа...

– Так вот, товарищи... В бою будет страшно, очень страшно, но, чтоб этот страх перемочь, думайте-ка вы вот о чем: Овсянниково – твоя деревня, в ней твои родные под немцами мучаются... Понимаете? Легче будет, страха меньше, а злости больше. Поняли, ребятки?

– Чего не понять, товарищ политрук, – отзывается Рябиков. – И так, глядишь на это Овсянниково, думаешь: русская деревня-то, а под гадом фашистом. Сердце кровью обливается, мое же Костенево тоже под ним.

– Выбить надо гадов оттедова. Выбить! Это мы знаем, товарищ политрук, нас агитировать не надо, вы вот скажите: как с огоньком будет? Танки как, будут ли в поддержку? – ожесточенно говорит один из «бывалых» с седой щетиной на лице.

– Да, надо выбить, товарищи... Танки, по-моему, на подходе. Будет, наверно, и артиллерийская подготовка. – Политрук обводит глазами бойцов и видит, что у всех один вопрос: сегодня ли в наступление? Но он и сам не знает, что решит начальство, поэтому замолкает.

– Что-то вы не очень уверенно говорите, товарищ полит-

рук, – начинает тот, с седой щетиной. – Я же вторым заходом на фронте. Кое-чего повидал. Без хорошего огонька тут делать нечего. Видали, сколько их не дошло-то? То-то и оно...

– Скоро придет командир роты, он скажет точно, – политрук поднимается.

– Вас проводить? – спрашивает Коншин.

– Не надо.

Но Коншин все же провожает до оврага... Политруку за тридцать. Для Коншина – почти старик. Наверное, женат, имеет детей. До войны как будто работал кем-то в райкоме, инструктором, видимо... У него красноватое обветренное лицо деревенского жителя, морщинистое не по годам. На формирование его прислали за неделю до отправки на фронт, и поэтому Коншин мало его знает, не так, как Кравцова, с которым почти полтора месяца вместе. Но по тому, как без колебаний перемахнул политрук овраг, видно – не трус.

И сейчас так же спокойно, как и в первый раз, перебегает он простреливаемое место, машет Коншину рукой и скрывается между деревьями на той стороне оврага.

Опять взвод без начальства. Опять все на плечах Коншина. Надо бы дать приказ окапываться, но не знает он, оставят ли здесь или перекинут взвод. Да и не берут малые саперные мерзлую землю, хоть что делай! А ямки небольшие в снегу и так почти все выкопали, но толку от них чуть, одно самоушение, ну и для порядка.

Командир первого отделения – ставший теперь помкомвзвода – приглашает Коншина в только что сооруженный шалашик.

– Погреемся, командир, малость, покурим, – говорит он, пропуская Коншина вперед.

В шалаше тепло, дымно... Не успел Коншин курнуть два раза, как кидает его в дрему. Глаза закрываются, и проваливается он куда-то, где нет ни этого поля, ни развороченной земли, ни минометного обстрела, ни наступления впереди... Ничего нет. И побыть там, где ничего нет, хоть несколько минут, видимо, просто необходимо всем им, потому и сержант засыпает, не докурив сигарку, и красноармеец, который с ними, – тоже.

Но ненадолго это. Как провалились в небытие, так и вырвались из него: прострекотала пулеметная очередь над оврагом. Видно, идет к ним кто-то...

Пошли с сержантом туда. По дороге проходят мимо группки бойцов, человек пять сбились в круг, курят, один из «бывалых» что-то рассказывает, слушают без улыбок.

– Товарищ командир, где же лейтенант наш? Может, и правда к немцам ненароком попал? – спрашивают Коншина.

– Убит Четин... За оврагом на тропке лежит, – не сразу отвечает Коншин.

– Уже... – протягивает кто-то и поеживается. Поеживаются и остальные.

– Мальчонка совсем, – вздыхает другой.

На этом разговор о Четине прекращается, и Коншина удивляет, что эта первая смерть людей не поразила, что приняли они ее более или менее равнодушно... И он начинает понимать, что смерть здесь – это совсем другое, чем в обычной жизни. Вспомнилось, как переживали они гибель своего однополчанина, придавленного сошедшим с рельсов вагоном, как несколько дней ходили потрясенные случившимся... Здесь же, видать, все не так. Да и сам Коншин разве уж так сильно затронут этой смертью? Да, конечно, в первые минуты было больно и жалко Четина очень, а сейчас кажется это обыкновенным, и, видимо, потому, что каждого здесь может убить в любое время, и, если каждую смерть переживать, – сердца не хватит.

У оврага никого нет... Наверное, просто так прошлись немцы очередью. В шалаш уже не тянет, и Коншин с сержантом бродят по леску, меряя его без толку шагами туда-обратно. Невелик лесок. На тыльной стороне его заметили подбитый танк с развороченной башней и подивились силе взрыва, который такую стальную махину искорежил начисто. «Что же с танкистами?» – представилось сразу. И потянуло курить.

Не только Коншин с сержантом маются в ожидании. Весь взвод, по двое, по трое, слоняется по передовой. Сидеть в шалашах или валяться под елками уже невмочь. Пять шалашей соорудили, но не знают, стоит ли еще? Может, погонят их с этого места вскорости? Лучше бы, разумеется, остави-

ли здесь. Вроде бы привыкли уже. Но никто ничего не знает. Начальства нет, взводный убит, а помкомвзвода Коншин, который теперь за командира взвода, хоть парень и ничего, но тоже бродит по передку как в воду опущенный, губы сжаты, в глазах смуть, тоже на войне по первому разу... На Урале-то, на формировании, гонял взвод дай боже: и тактику, и рукопашный, в общем, давал жизни, но пригодится ли здесь все это, – вот задача. Разве эти, что на поле лежат, в снег уткнувшиеся, не обученные? Но не прошли и половины пути. Короче, выяснилось в общих разговорах, что жить здесь можно, лишь бы никуда не трогали...

Но тут опять стрекочет очередь у оврага, прислушиваются: к ним кто-то бредет. И верно, через несколько минут появляется ротный. Шинель в снегу. Видно, когда овраг переходил, уложили его немцы в сугроб.

– Ну как, ребятки? – спрашивает Кравцов без нарочитой бодрости, по-душевному.

Ребята мнутя, кто плечом пожмет, кто пытается улыбку соорудить, да не выходит, кто в землю взглядом утыкается – а чего отвечать?

– Понимаю, – говорит ротный, обводя всех глазами. – Ничего, обвыкнете помаленьку. Отойдем-ка, Коншин, в сторонку. – Отходят. – Видал Четина?

– Видал.

– Принимай взвод по-настоящему. На отделение толкового бойца поставь.

– Сделано, товарищ старший лейтенант.

– Ну и лады тогда... Разговор вянет.

Кравцов просит махорки, – видно, хочет продрать горло как следует: комсоставу легкий дают табак, «Беломор». Завертывает, затягивается.

– Почему они не прошли? – кивает Коншин на поле.

– Спроси чего полегче, – хмурится Кравцов.

– А мы... мы пойдем? – наконец решается Коншин на главный вопрос.

– Наверно, – отрывисто и как-то раздраженно отвечает Кравцов. – Настраивайся на это, ну а людям... людям пока не говори.

Проходятся они по пятаку, ротный осматривает участок второго взвода, покачивает голову, кривит губы, потом говорит Коншину:

– Выдели двух бойцов Четина захоронить... Ну, я пошел. В случае чего пришлю связного.

Коншин приказывает двум бойцам идти за овраг к Четину, и те отправляются вместе с Кравцовым. Опять слышна пулеметная дробь, – наблюдают немцы за этим местом здорово.

После ухода ротного расплзаются люди по шалашикам: надоело без толку бродить. Появились дымки, но немцы на них внимания не обращают, мины не бросают, и народ совсем осмелел – костры и вне шалашей разжигают. Томит всех не только ожидание, но и голод. Почти сутки прошли,

как пищу не принимали, но ясно всем: раньше ночи не доставят, так что ничего не остается, как пояса потуже затянуть да куревом аппетит отбивать. Правда, говорят, что в наступление лучше с пустым брюхом идти, тогда ранение в живот не так страшно, но пожевать все же хочется...

Во всем взводе часы только у Коншина имеются, и, взглянув на них, видит он, что к двенадцати подваливает. Шесть часов, как они здесь, а время-то пролетело совсем незаметно.

Один из «бывалых», рядом оказавшийся и увидевший, сколько времени, облегченно вздыхает.

– По всему, не будет наступления, командир. Мы, как правило, на рассвете в бой ходили. Времени впереди целый день. Значит, ежели овладеем, можно оборону немецкую переоборудовать и немецкие атаки выдержать, да и немцы на рассвете сонные, в блиндажах припухают, пока к окопам выскочат, можно половину пути пройти... А в середине дня кто же наступать надумает? Не дело это. Считайте, что этот день и ночька – наши. Пойдем, видать, завтра на рассвете.

Не очень-то верит Коншин этим словам, но верить хочется, и немного от сердца откатывает, завертывает самокрутку без дрожи в руках и затягивается со вкусом. Одна у них сейчас радость: у каждого по полной пачке махры, дымить пока можно захлеб, дня на два должно хватить, а загадывать и на них нельзя. Потому от каждого тянется густой махорочный дым, сигарки изо рта не выпускают.

Около одного шалаша Коншина окликают:

– Кипяточку не хотите, товарищ командир? – протягивают кружку.

Обжигаясь, пьет Коншин, и хорошо идет горячая водичка. Наполняет пустой желудок, согревает тело. Сейчас бы сахарком закусить – и было бы совсем ладно; но зря обшаривает он карманы – не завалилось в них ничего, пусто, кроме махорочной пыли, не нащупывают пальцы ничего.

Глядят ребята на него жадно: не сказал ли чего ротный определенного насчет наступления, но Коншин делает вид, что взглядов тех ждущих не замечает, – зачем раньше времени людей тревожить, что будет, то будет. Хватит того, что сам знает, что у самого под ложечкой пустота какая-то. Отмалчивается Коншин, но, конечно, скрыть все на своем лице не в силах, и по нему видят люди, что впереди у них то, о чем задумываться неохота, что гонишь из головы, но поле-то перед ними, и – хочешь не хочешь – мысли идут: кому из них лежать сегодня на этой развороченной снарядами земле, не мне ли?

Так проходит еще часа два, к двум стрелки коншинских часов подбираются... Да, пожалуй, и вправду не будет наступления, куда это в середине дня топать? И немного от сердца отлегает, чуток ребята пободрели. Если до этого разговоры вели скупые, то сейчас поживее пошли. Смешков, конечно, не слышать, но говорят уже в полный голос, не тем сдавленным шепотом, как поначалу.

И тут совсем неожиданно, так как пулемет немецкий замолчал, прибывает от ротного связной.

– Командиру второго взвода приказано перейти со взводом к землянке помкомбата, – говорит он Коншину.

Значит, всем взводом через овраг, в ту главную рощу... А как переходить, когда светло, когда наблюдают немцы, когда по одному человеку пулеметом кроют? Для чего – об этом Коншин сейчас не думает. Там ли будут сосредоточивать роту для наступления или просто передислокация взвода – не это сейчас главное. Главное, как этот овраг без потерь перемахнуть? Ну хорошо, одно отделение немец вдруг проморгает, но после этого уже следить будет неотрывно и другое встретит уже верняком, как только рыпнутся...

Собирает он отделенных.

– Как, товарищи, переходить будем? Не махнуть ли сразу всем взводом?

Сморщили лбы отделенные, думают. Потолковали, порадили и решают: всем взводом, в один заход, одним рывком, а для этого вытянуть взвод в одну шеренгу перед оврагом, чтоб при беге друг дружке не мешать, и с маху...

Сообщают командиры отделений об этом бойцам, те тоже задумались... Больно неохота уходить отсюда. Вроде чего жалеть? Деревца тут тоненькие, не очень густо растущие, землянок нет, окопов тоже, только шалашики, наскоро сляпанные, но стал уже для них этот кусочек земли вроде родным, свыклись с ним, как-то устроились, и покидать его –

нож острый. А главное, никого тут не убило, никого не ранило, так бы и жить здесь, но нет, – приказ...

Выстраиваются люди перед оврагом, почти весь лесок в ширину заняли, друг на друга поглядывают: кому счастье выпадет на ту сторону живым добратся, кому нет? Коншин предупреждает: как перебегут, сразу залечь, дальше не бегать, и командует:

– Приготовиться... Марш!

Подгонять никого не нужно, махнули что есть мочи. Может, две-три секунды был взвод на виду и сгинул, залег на той стороне оврага, отдышивается. Опаздывает немец с очередью, но слышат люди – мины завыли. Тут уже приказа не надо, сами перебежками бросились вглубь, от оврага подальше. А там уже поднимаются и поотделенно, змейкой, к землянке помкомбата двигают.

В центре роци и первый взвод, и третий, а подальше и вторая рота. Народу много. И вроде бы повеселей должно стать, но чувствуют люди, что собирают их вместе не зря, что-то готовится, а что может готовиться, кроме наступления? Посматривают на поле, и кажется всем, что до деревни той, немцами занятой, не восемьсот метров, как Коншин на глаз подсчитал, а много больше, – ведь еле-еле домишки проглядываются, да и день этот, серый, промозглый, тоже видимости не прибавляет.

Кравцов, помкомбата и командиры других рот стоят у землянки, покуривают и тоже взглядами – на поле.

Коншин ремень подтягивает и направляется к Кравцову для доклада и, не то по привычке, не то для того, чтобы показать свою выдержку начальству, переходит почти на строевой шаг. Во всяком случае, ножку держит. Но ротный оставливает его рукой, хотя и глядит одобрительно.

– Располагайте взвод, – говорит он, а потом, чуть усмехнувшись, берет помкомбата за рукав: взгляни, дескать, какие у меня орлы.

Помкомбата кидает рассеянный взгляд на Коншина, но быстро отводит: не до того ему, видно, – брови нахмурены, губы в ниточку сведены.

Что знает Коншин о помкомбата? Да почти ничего. Когда на формировании были, заставляли их, бывших студентов, командирские удостоверения заполнять, вот и помнит, что с двадцать второго года тот. Для Коншина все те, кто моложе его на год-два, кажутся мальчишками. Сам он с двадцатого, ну и стаж армейский почти три года... Конечно, лучше бы помкомбата Кравцов был и в летах, и второй раз на фронте, но командиров в армии не выбирают.

Коншин, увидев Чуракова и Пахомыча, направляется к ним.

– Ну что, ребятки, тут заваривается?

– Для чего сюда пришли, то и заваривается, – хмуро, но спокойно отвечает Чураков и добавляет свое обычное: – Живы будем – не помрем.

– Будем ли? – с тоской и чуть слышно говорит Пахомов.

– Слякоть не разводи. Навалимся всем батальоном – пройдем запросто. Только прав батальонный: вести огонь надо с ходу непременно, – произносит это Чураков спокойным баском, как-то уверенно.

И становится Коншину после этих слов легче. Захотелось даже, чтоб уж скорей наступление началось, – была не была, а то уж больно ожидание замучило.

Он хлопает Чуракова по спине:

– Молодец, Иван. Тебя не прошибешь. Завидую.

– А что прошибать? Сами докладные писали, а знали ведь – не на гулянку напрашиваемся, на войну... Вот и пришли... воевать.

– Ну, бывайте, ребята, я к своему взводу пойду, – Коншин еще раз хлопает Чуракова по спине.

– Бывай, Алеха...

Из землянки помкомбата выскакивает связист:

– «Волга» вас, товарищ лейтенант.

Помкомбата, закусив губу, бросается в землянку. Кравцов и остальные ротные подходят ближе, напряженно вслушиваются.

Андрей Шергин сидит под елью и сосредоточенно смотрит на поле. Коншин идет к нему, присаживается рядом. Шергин только мельком бросает на него взгляд и ничего не говорит. Коншин завертывает сигарку и тоже молча тянется к Шергину прикурить.

– Про письма не забудь, – наконец произносит Шергин.

– Не забуду.

И опять молчание. Почему-то не находит слов Коншин. Видно, потому, что отчужден Шергин, весь в своих мыслях и далек как-то от него. Но все же немного погодя спрашивает:

– Как обстановка, на твой взгляд?

– Обыкновенная, – не сразу отвечает Шергин. – Вот по этой балочке, что от оврага тянется, я до середины поля дойду без больших потерь, а там... Там не знаю... Там, наверно, надо рывок. Но останутся ли у людей силы...

– Ты думаешь, что мы сможем взять эту деревню все-таки?

Шергин долго не отвечает. Несколько раз затягивается махрой, потом медленно, отчеканивая каждое слово, говорит:

– Я должен со своим взводом войти в нее первым...

Коншин невольно отшатывается. И смысл слов, и тон, каким они сказаны, поражают его. Ему начинает казаться, что Шергин невменяем, что он целиком захвачен какой-то именно своей целью и ничего другого для него не существует. Коншину становится даже как-то не по себе.

– Почему – должен?

Шергин поворачивается к нему, внимательно смотрит, затем говорит:

– Разве ты не понял? Адрес на письмах...

– Да... Я хотел спросить... Постеснялся.

– Мой отец – бывший комбриг... И я должен... должен

доказать... Понимаешь?

– Понимаю, – Коншин действительно понимает, что Шергин в этом бою будет воевать так, как никто из них...

Между тем выбирается из землянки помкомбата, и его сразу обступают ротные. Коншин поднимается и идет туда. Совсем близко подходить неудобно, но ему так важно знать, что же теперь, после звонка комбата. Он подбирается как можно ближе и становится за дерево.

– Так нельзя! – слышит он голос Кравцова и видит, как тот резко взмахивает рукой.

– Так нельзя говорить, старший лейтенант! – обрывает его помкомбата, стараясь придать уверенность и начальственность своему голосу, но Коншин не может не видеть, что тот растерян и как-то весь смят.

– Виноват, – продолжает Кравцов. – Но ведь и дураку ясно... Не в бирюльки же играть будем. Танки-то хоть будут?

– Нам приданы два танка. Они уже здесь. Короче: это приказ, и обсуждать его нечего.

– Да, конечно, – говорит командир второй роты. – Но если не будет артподготовки, может, перенести на завтрашнее утро... Подберемся затемно, а на рассвете навалимся...

– Приказано наступать сейчас, – уже с каким-то отчаянием говорит помкомбата. – Вы же поймите, – это решение не комбата и даже не командира бригады... Это свыше.

– А там, свыше, знают, что боеприпасов нет? Почему, кстати, их нет? – замечает командир второй роты.

Кравцов тяжело и длинно матерится, а потом режет:

– Чего пустое молоть. Давайте решать.

Помкомбата как-то сжимается, губы кривятся, и ротные понимают, как трудно ему решиться... Он же, как и они, прекрасно понимает, что пройти это заснеженное поле, окруженное тремя деревнями, занятыми врагом, и с трех сторон насквозь простреливаемое, батальону без поддержки артиллерии почти невозможно. Смутная догадка, мелькнувшая еще в землянке при разговоре с комбатом, что не наступление это, а какой-то маневр, может быть, разведка боем, опять пробегает в мыслях, и он вдруг почти неожиданно для себя решает.

– Товарищи, – почти шепотом начинает он, – а если так? Пустим один взвод... для пробы... Если потери будут большие – отведем обратно. Ну как?

Ротные молчат... Конечно, потери будут большие. Конечно, один взвод просто погибнет на этом поле... Но ведь один взвод – не батальон, не рота...

– Ну как, товарищи? – опять спрашивает помкомбата и вытирает пот со лба.

– Чудно как-то... – схватившись за подбородок, говорит Кравцов. – Вы бы нам, лейтенант, настоящий боевой приказ дали... Сведения о противнике, соседи и прочее, ну как положено. А так что? Самодеятельность какая-то получается...

– Именно, – подтверждает командир третьей роты и сплевывает сигарку.

– Нет сведений о противнике, нет никаких соседей, наступать будет только наш батальон. Понимаете? – выпершивает помкомбата.

– А ты-то сам понимаешь? – в сердцах бросает Кравцов, перейдя на «ты», на что помкомбата не обращает внимания и снова вытирает лоб платком.

– Ну как, товарищи? – повторяет вопрос помкомбата.

Это уже не бравый двадцатилетний лейтенант, а немолодой человек с почерневшим, искривленным лицом и потухшим взглядом.

– Решай сам. Наше дело – приказ выполнять, – Кравцову и жалко помкомбата, и злость берет, – поставили пацанов...

До Коншина, слышавшего весь этот разговор, дошло только одно – «взвод на пробу». И на эту пробу может пойти его взвод! Остального он не понимает – ни соображений помкомбата, ни возражений Кравцова. Только одно – «взвод на пробу, взвод на пробу». И вдруг – самое страшное – слова помкомбата...

– Хорошо, решаю. Командиру первой роты выделить взвод.

Коншин обмирает и упирается взглядом в спину своего ротного – только не второй, только не второй, только не мой... Бьется, раскалывая голову, лишь эта мысль: только не мой, только не мой...

Кравцов не торопится... Он опускает взгляд в землю и думает. Каждый взвод для него одинаково дорог, в каждом жи-

вые люди... Да и не обойтись взводом, даже если это разведка боем. Немцы не дураки, чтобы открывать свои огневые точки ради одного взвода... Придется ротой идти, а может, и всем батальоном...

Коншин, уже не таясь, выходит из-за дерева и глядит на Кравцова отчаянным, наверно полубезумным, взглядом, и тот, почувствовав, оборачивается, сталкивается глазами с ним, понимая, что слышал тот все... И не сразу, а еще подумав немного, с трудом выталкивает из себя:

– Пойдет... первый взвод.

– Действуйте! – с облегчением выдохнул помкомбата. Наконец-то что-то решилось.

Коншина окатывает какая-то сумасшедшая, стыдная радость, и сматывает с тела сковывавший до этого холод... «Не мне идти, не мне... Слава Богу, не мне...» – бормочет он про себя, не понимая еще, что это – отсрочка, только небольшая отсрочка... Но радость расплзается по душе, и не может он ее погасить, хотя понимает, что радость эта гадка, потому как на смерть пойдет другой, пойдет Шергин... «Неужели я такой подлец, неужели?..» – шепчет он про себя, но эти слова не сбивают того невероятного облегчения, которое он чувствует.

– Командиры взводов, ко мне! – раздается сдавленный голос Кравцова и срывает Коншина с места, но первым подбегает к ротному Шергин и вытягивается по стойке «смирно».

И вот они трое – Шергин, Коншин и командир третьего

взвода, молоденький высокий лейтенант с чуть-чуть подрагивающими губами, – стоят перед Кравцовым. И спокойней всех на вид Шергин, на которого Коншин не может смотреть.

– Так вот, ребятки, первая рота получила приказ на наступление. Слева от нас пойдет вторая рота, третья пока в резерве... Задача – как можно быстрее сблизиться с противником и уничтожить его в рукопашной схватке. Сигналы уставные... В случае чего – роту принимает Шергин, – Кравцов говорит спокойно, будто на учении, и только последние слова выдавливают с натугой. – Кстати, первый взвод двинется первым, вон по той ложине, которую ты и наметил, Шергин...

– Ясно, – чуть дрогнувшим голосом отвечает тот.

– Поставить задачу перед отделением и выдвинуть людей на исходный рубеж. Все понятно?

– Да... понятно... – еле слышно подтверждают взводные.

Вот и свершилось! Вот и наступило то, к чему готовили они себя годы в кадровой. Грянет сейчас первый для них бой! Как поведут они себя? Что будет? Добьются ли победы? Из всей роты только Коншин знает, что, если потери первого взвода будут очень большими, наступление, может быть, отменят. Для Шергина же и командира третьего взвода все отрезано, у них впереди только это белое поле, только оно, кажущееся бесконечным, и черные треугольники крыш занятой немцами деревни, к которой они сейчас побегут и которую должны взять.

– Шергин, держи, – отдает Кравцов ему карабин. – А мне бы винтовочку со штыком, смени у кого-нибудь.

– Вам «токаревку»?

– Нет, нашу, образца... К ней привык.

Действительно ли думает Кравцов, что дойдет до рукопашной, или так, для поддержания их духа и веры, меняет он свой карабин на винтовку, об этом никто не ведает, но впечатление нужное производит.

Шергин ведет свой взвод к оврагу, Коншин – к краю леса левее, а еще левее располагается третий взвод. Дальше – вторая рота, но ее не видать. Оттуда же, слева, слышно урчание танков и треск ломающихся деревьев. Значит, выходят на исходные позиции, значит, будет им поддержка.

А там, на немецкой стороне, никакого движения. Угрозно и молчаливо глядят избы с пригорка. Сзади темной полосой невысокий лесок. Что же будет сейчас, когда выйдет на поле взвод Шергина? Что?

Уже наготове он, пока скрытый деревьями, но вот-вот выбежит он на поле, нырнет в лощину, которая скроет его на время от немцев... Но лощина, наверное, пристреляна минометами, вспоминает Коншин слова ротного.

– Сержант, туда можно перейти? – спрашивает Коншина подошедший сзади старший лейтенант и указывает рукой через овраг, на тот лесок, в котором недавно они находились.

– Можно, только бегом. Простреливается, – отвечает Коншин.

У старшего лейтенанта пушечки в петлицах, на шее висит бинокль, в руках раскрытая планшетка с картой. Наверное, будет засекал немецкие огневые точки, думает Коншин и смотрит, как старшой перемахивает через овраг.

Кравцов сам не знает, почему выбрал он первый взвод. Да и выбирать-то было не из чего. Коншина, слышавшего разговор, посылать нельзя было, а этого молоденького лейтенанта – не хватило духу. Вообще, вся эта затея с «пробой» была поперек горла: помирать – так всей ротой, а так – стоять и смотреть, как без толку гибнут люди, просто невмочь. И потому думал он, что опытный и спокойный Шергин, может, сбережет людей, может, как-то избежит уж очень больших потерь, – и тогда... тогда поддерживать его надо всей ротой... Стыдно же иначе. Да и как же иначе?

«Ну, Дуська, – говорит он про себя, – останешься вдовой, нагуляешься вдоволь, если мужики останутся. Может, тогда и поймешь, что был у тебя муж неплохой, что любил тебя... Так тебя вряд ли кто полюбит, побалуется, и в сторону. Покусаешь еще локти... Да ладно, – перебивает он себя, – чего это вздумал хоронить прежде времени. Поживем еще, повоюем». Он кладет руку на плечо Шергина:

– Давай, Шергин, двигай. Как из лощины выйдешь, веди огонь что есть сил. Патронов не жалея. Оттуда уже будут видны немцы, понял?

– Есть. Первое отделение, вперед! – И Шергин, обгоняя людей, бросается на поле.

За ним цепью рассыпаются сперва первое, а потом и остальные отделения и, пробежав несколько десятков метров по полю, ныряют в лощину. Не очень-то она глубока, но все же скрывает... И сразу же треск нескольких пулеметов и завывание мин. Потом над взводом в воздухе рвется что-то – раз, два... четыре, а дальше уже не сосчитать...

Небольшие серые облачка почти неподвижно висят над лощиной... Бризантные, думает Кравцов, представляя, как сверху на головы и спины людей летят раскаленные кусочки металла, от которых уже не спастись ничем...

Время перестает существовать для Коншина. Он стоит за большой елью и не сводит глаз с шергинского взвода. Ему даже невдомек, что надо бы лечь, потому как пули шаркают по лесу, взывают над головой и отделенные без его команды укладывают людей у кромки леса. Поодаль, тоже за елью, стоит Чураков, он на правом фланге своего, третьего, взвода, а его лейтенант – на левом. Он тоже не спускает взгляда с поля, на котором мечется первый взвод, и, пожалуй, только сейчас в его душу холодной противной струйкой вливается страх.

«Не так все делается, не так», – думает он и сжимает свой тяжелый кулак, стараясь придавить легкую дрожь в пальцах, и ему хочется не быть одному. Он оглядывается, – Пахомыча нет, он со своим отделением левее, а Коншин тут, рядом. Надо к Алехе, решает он, резким движением выбрасывает тело и в несколько прыжков достигает Коншина, хватает его

за руку. Тот секундно отрывается от поля, слегка пожимает пальцы Чуракова.

– Иван?

– Я... Вдвоем веселее.

– Да... Лучше.

Конечно, лучше, только ствол дерева не укрывает их двоих, а пули-то рыскают по роще...

От первого взвода тянутся первые раненые – кто бегом, придерживая простреленную руку, кто ковыляет, припадая на раненую ногу. Носилок на роту четыре штуки. С одними санитары, подгоняемые санинструктором, бегут вдогон первому взводу и через некоторое время обратно – тащат тяжелораненого.

– Если потери будут большие, взвод отведут и наступление отменят, – говорит Коншин Чуракову.

– Откуда знаешь? – удивляется тот.

– Слышал.

– Точно?

– Точно.

– Дела... – протягивает Чураков. – Это ж ни в какие ворота не лезет. – И чувствует, что какая-то постыдная надежда заползает в душу. – Выходит, может, нам и не придется?

– Может. Но как глядеть на это?

– Да... – Чураков раздражается длинным ругательством.

Подбегает Кравцов и бухается под ель.

– Чего столбами стоите? Ложись!

И вот они втроем лежат около ели и видят, как из лощины уже на поле выбегает Шергин, падает и, лежа, взмахом руки подтягивает людей. Появляются еще двое, трое, потом еще, еще, рассыпаются цепью и открывают огонь. Их стрельба почти не слышна в грохоте разрывов, треске разрывных пуль, которыми засыпали немцы их расположение, но огоньки из стволов видны.

– Молодец Шергин-то, – протягивает Кравцов, и не поймешь, – одобрение в его словах или боль какая-то.

– Мы пойдем? – не может скрыть дрожи в голосе Коншин.

Кравцов не отвечает, только смотрит долго, а потом, чуть скривив губы в улыбке, тихо говорит:

– Ничего, держитесь, ребятки... – поднимается и тяжелой рысцой отбегает от них к землянке помкомбата.

В положении лежа им плохо видно поле, и потому они встают, – у каждого полтуловища закрыто стволом, а половина открыта.

Шергин поднимается, что-то кричит и бежит вперед. За ним – взвод. Но теперь-то уже видно, как мины рвутся прямо среди людей. Видно, как раненые отползают назад; видно, что некоторые лежат уже недвижно... И вдруг Шергин падает!

– Видишь, Иван?

– Вижу.

К Шергину подползает кто-то из бойцов. Наверное, его связной Сашка. Склоняется над Шергиным, что-то делает.

Поле окутано дымом от разорвавшихся снарядов, мин, и потому видно плохо.

– Перевязывает, – говорит Чураков.

Ну, теперь вряд ли без Шергина взвод станет передвигаться, – думает Коншин. Теперь надо его отводить. Скажу ротному, что Андрей ранен. Но что это? Шергин поднимается. Виден закатанный рукав телогрейки и бинты на руке. Еще слышен его голос «вперед», и он опять бежит по полю, а за ним, перебежками, его поредевший взвод.

«Не надо, Андрей, – про себя бормочет Коншин. – Ты же не знаешь... тебя «на пробу» пустили. Не надо. Уходи с поля. Уходи. Тогда отведут и твой взвод. Уходи. Ты же ранен, ты же имеешь право...»

Но Шергин бежит и неизвестно как, но заставляет бежать за собой и свой взвод. Кучка людей на огромном поле. С трех сторон немцы, и с трех сторон огонь. Неужели Шергин не понимает, не видит, что его никто не поддерживает, что вот-вот должна быть команда «отход»?

– Надо отводить взвод. Смотреть нет мочи. Я к ротному, – говорит Коншин.

– погоди. Так и послушает тебя ротный. Да и не в нем дело, – кладет руку ему на плечо Чураков.

– Но нельзя же так. Он же тронутый, Шергин. Погубит себя, погубит людей...

Кравцов и помкомбата, тоже спрятавшиеся за стволом большой ели, смотрят на шергинский, барахтающийся под

пулями и взрывами, взвод. Четыре одиноких цепочки, в которых по семь-восемь человек... «Считай, половины уже нету, а прошли метров триста только, впереди еще ох как много... Сейчас взвод залег. Наверно, очень плотный огонь. Пора отводить», – думает Кравцов, касаясь рукой спины помкомбата. Тот понимает его жест.

– Сейчас решим. Иду звонить комбату.

Но тут опять взметывается с земли Шергин, а за ним и остальные.

– Герой, – бормочет Кравцов.

– Да. Надо представить к награде. К звездочке.

– Ему Героя нужно. Не меньше.

– Героя? – удивляется помкомбата.

Но Шергин опять падает. И не поймешь: ранило ли еще, или залег?

Кто-то снова склоняется над ним. Значит, ранило второй раз, а может... Но нет, видно, как перевязывают его.

– Ну, хватит, Шергин! Давай обратно! – вырывается у Кравцова.

– Да, пожалуй, надо отводить... – помкомбата трогается к землянке, где телефон, но Шергин поднимается.

Хромая, он что-то кричит, машет рукой и идет вперед... За ним, перебежками, следует взвод.

– Хватит, лейтенант! Либо отводи, либо посылай в поддержку! – в сердцах выпаливает Кравцов, весь дрожа.

Помкомбата на миг задумывается, потом решительно ре-

жет:

– Да. Посылайте связных во второй и третий взводы – пусть начинают!

– А вторая рота пойдет?

– Да. Давайте скорее!

Когда связной от Кравцова подбегает к Коншину, тот стоит на коленях около лежащего Чуракова и рвет гимнастерку на его груди. Под левым соском небольшая дырка, крови совсем нет, и это вначале удивляет Коншина, а потом он понимает: Чураков мертв, и кровь свернулась...

Отчаяние, какого не испытывал никогда в жизни, охватывает Коншина.

– Ваня, Ваня... Как же так?.. Иван, дорогой... Мы же три года вместе... Как же это?.. Иван... – бормочет Коншин.

Связной опускается рядом с ним.

– Товарищ командир... Товарищ командир...

Коншин непонимающе смотрит на него.

– Товарищ командир... ротный приказал – второму вперед, – прошептывает связной.

– Что?.. Куда вперед? Зачем?.. – не доходит пока до Коншина.

– Наступать второму взводу... Старший лейтенант приказал, – повторяет связной.

– Наступать? – наконец понимает Коншин и взрывается: – Какого черта! Передай ротному, что мне не «вперед» нужно, а настоящий боевой приказ! Я три года в армии! Понял?

Связной убегает, а Коншин опять склоняется над Чураковым. Нестерпимая боль рвет сердце... На миг представляет себя лежащим на поле, таким же недвижимым, как Чураков, и яростное желание повернуть время обратно пронизывает его. Он хочет – хочет так, как никогда и ничего не хотел в жизни, – очутиться сейчас в своем дальневосточном полку, откуда вырвала его поданная им докладная с просьбой на фронт... Но лишь на мгновение эта горькая вспышка. Он тяжело поднимается. Неужели он трусит? Да нет, не может быть! Нет, нет...

– Ты что, мать твою... – взвизгивает подбежавший Кравцов. – Какой тебе еще, к черту, приказ нужен?! – но осекается, увидев мертвого Чуракова. – Насовсем? – спрашивает уже тихо.

– В сердце...

Секунды две молчит Кравцов, а потом так же тихо:

– Ты же слышал, какой приказ мне помкомбат отдал... Не до устава тут. Понял? Надо, браток, надо... Давай двигай, – и подталкивает легонько в спину. – Как тебя звать-то, запомывал.

– Алексей.

– Давай, Алеха, давай... Сейчас танк двинет, – он еще раз подталкивает Коншина.

Тут уже все! Обратного пути нет! В голове пусто, в душе тоже, будто выпотрошено... Не помнит Коншин, как подбегают к нему вызванные Рябиковым отделенные, как говорит

он им что-то, выдумывая на ходу боевой приказ, как, развернувшись в четыре цепочки, бежит его взвод по полю, как сам делает первый шаг из леса, а потом, голося «вперед», обгоняет людей, как слышит слева «ура» и видит бегущую за танком вторую роту, какого-то капитана, кричащего: «За Родину, за Сталина!» – а потом и комсорга батальона, который, обгоняя капитана, кричит то же... Все словно в тумане, словно в дыму... Да и верно, в дыму, который стелется над полем и едко пахнет серой.

– Куда? – останавливает Коншин ползущего назад бойца, вроде бы никуда не раненного.

– В пах попало... Не знаю, чего там, но боль зверская...

– Иди, – бросает Коншин, а самого обжигает – вот ведь куда ранить может.

Невольно сдерживает он ход, потом падает, сдвигает малую саперную пониже, но когда поднимается и продолжает бежать, видит, что мешает лопатка бегу, и подтягивает обратно.

Кравцов и политрук стоят у кромки леса и напряженно смотрят на второй и третий взводы, на которые немцы перенесли сейчас огонь с первого взвода. Тот пока залег, и только несколько раненых – кто ползком, кто перебежками – подавались назад, к леску.

– Шергин-то уже дважды ранен, а не уходит... – говорит политрук.

– Зря я его, наверно, первым послал.

– Почему зря?

– Так... Ты ведь не знаешь, что у помкомбата решено было?

– Не знаю.

– Ну и знать это теперь не надо... Идти надо, комиссар. Помирать – так всем и с музыкой... – Кравцов чуть усмехнулся.

– Не торопишься ли помирать, старшой?

– Не тороплюсь. Но как жить буду, ежели живой останусь, не знаю.

Они молчат еще некоторое время, потом Кравцов затягивается последний раз сигаркой, резко бросает ее и зачем-то долго затаптывает сапогом в снег.

– Пошли, что ли? Ты к шергинскому взводу иди по оврагу, там раненых много, выносить надо, а я вслед Коншину...

– Стоит ли? Разве не видишь? – протягивает политрук.

– Вижу! Захлебывается наступление. Но того и ожидать следовало. Все вижу! Но люди-то наши там... Понимаешь, там! И мы должны...

– Да, должны... Пошли...

Они вместе выходят на поле... Политрук подает вправо, к ложине, а Кравцов неспешной трусцой бежит догонять коншинский взвод.

«Ну, Дуська, – говорит он себе, – видать, не свидеться нам больше. Прощеваться надоть... – переходит он на деревенские родные слова, от которых отучался все армейские го-

ды. – Такое, видишь, дело получается... – И почему-то пере-
кладывает винтовку из правой руки в левую, а пальцы пра-
вой сами собой складываются щепотью. Он усмехается: –
Надо же... Партийный же я. А перекреститься вроде охота...» – усмехается еще раз, перебрасывая винтовку опять в
правую руку.

И тут оглушает его разрыв... Какой-то миг видит он по-
качнувшееся небо, а потом странная черная темень закры-
вает все... И остается лежать на желтом грязноватом сне-
гу, раскинув руки, крестьянский сын, кадровый командир
Красной Армии, старший лейтенант Кравцов... А его ро-
та, не зная еще о гибели своего ротного, продолжает бе-
жать дальше, задыхаясь в матерных вскриках попеременно с
«ура», подставляя свои груди пулеметному граду, то падая,
то вставая, подстегиваемая хриплыми жестокими команда-
ми: «Вперед... вперед...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.